

СТ. ПИСАХОВ
СКАЗКИ



Сказки Степана Григорьевича Писахова (1879—1960) переиздавались неоднократно. Они выходили отдельными сборниками в Архангельске и в Москве. Последнее наиболее полное издание произведений Писахова вышло еще при жизни писателя в 1959 году.

В настоящем издании собраны лучшие образцы сказочного творчества Степана Писахова. Включены многие из ранних его произведений, не переиздававшихся после первой публикации. Тексты сказок выверены заново, бережно сохранены все особенности их народно-поэтической речи.

Сказки



Ст. Писахов

Северо-Западное книжное издательство. 1969

ХУДОЖНИК В. С. ВЕЖЛИВЦЕВ

ДУША СЕВЕРА



Степан Григорьевич Писахов был поистине поэтической душой Севера: он знал его палитру, его музыкальную гамму, его говор, лукавство народной речи, мужественный склад помора — все, что составляет самую глубокую природу северного края...

В. Г. Лидин

В истории литературы есть писатели, создавшие огромное количество произведений. И в то же время почти забытые. Есть художники — авторы немногих творений. Но творений настоящих, высокоталантливых. Над ними не властны годы. И чем дальше они уходят в даль времени, тем ярче вырисовываются их истинные масштабы, тем полнее раскрывается перед поколениями их мудрое очарование. Искусство живо именно такими созданиями.

Степан Писахов написал всего одну книгу. Книгу сказок. Но эта книга прочно вошла в золотой фонд русского национального искусства, в число лучших творений советской литературы. Об этой книге с восторгом отзывались такие мастера поэтической речи, как Демьян Бедный, Самуил Маршак, Леонид Леонов, Илья Эренбург...

Ценность сказок Писахова — в их новизне и прежде всего в их жанровой самородности. Можно много говорить о связи произведений Писахова с народным творчеством, с северными изустными былями и сказами. Можно написать специальное исследование о фольклорных истоках писаховской художественной речи. Но вместе с тем нельзя не заметить самобытности мысли автора, самостоятельности его эстетических решений.

Сказки Писахова — не адекватны народным. Это не пассивная обработка фольклорного материала. Это творения, возникшие на основе синтеза большой литературы с устно-поэтическими традициями, письменной речи с народным словом. Это цветы, любовно взращенные на стыке двух словесных культур.

Несмотря на лаконизм формы, сказки Писахова отличаются значительностью и богатством содержания. Писатель умеет гово-

рить о самом главном. Он проникает в толщу народной жизни. Хоть географически очень мал тот клочок земли, где живут его герои, — все равно это великая родина, это Русь, до боли любимая земля отцов. В сказках Писахова живописуются не только быт и нравы северного поморского крестьянства. В них отразилось сознание народа, его внутренняя жизнь, его стремления. В них воспето сердце народное. А ведь душа человека и земля, породившая его, навсегда останутся важнейшей проблемой искусства.

Сказки Писахова тесно связаны друг с другом. Это страницы единой книги о жизни родного народа, главы монолитной поэмы о Севере. Внутренняя целостность книги Писахова достигается не только единством материала, но и единством рассказчика. Повествование почти во всех сказках ведется от лица жителя деревни Уймы — Сени Малины.

Малина — главный герой сказок, непременный участник всех невероятных происшествий. Это яркий и необычно глубоко для сказочного жанра разработанный характер северного крестьянина. Сеня Малина привлекает нас издревле ценимыми человеческими свойствами: любовью к людям и любовью к труду. Чувством земли и чувством народа. Сеня Малина душевно красив, душевно притягателен. Он умеет улавливать красоту жизни и красоту человеческих отношений. В образе Малины раскрыта неутолимая тяга к художеству, постоянно живущая в народе.

Когда возникает ощущение особой поэтичности его натуры? Когда он, песенный мастер, плетет стихи и «девки в песенны плетеники обирают всяку ягоду»? Когда он расцветает яблоней и всех земляков обряжает «цветами и яблоками»? Или когда он видит так, одухотворяя все сущее, как не видят другие? Вспомните начало сказки «Уйма в город на свадьбу пошла»:

«В утрешну рань, коли взглядывать мельком, дом-то после ночи, после сна при солнышке весь расправится, вздынется да станет всяки штуки выделывать, и так и сяк повернется, а сам довольнехонек, окошками светится, улыбается...»

Нет, дело не в частных случаях. Весь строй души Малины поэтичен. Чувство красоты присуще ему органически, так же, как органически свойственны ему и другие коренные черты поморов: душевная открытость, немелкость, добротность во всех делах и поступках.

Но Малина не только творец и созидатель. Малина — классовый борец, борец непримиримый, смелый, решительный. Верный защитник своего народа от многочисленных угнетателей. Он хорошо видит, кто его друзья и кто его враги. Он понимает, что «народным хлебом цари-короли объедаются, на народну силу опираются да той же силой народ гнетут. А чтобы народ в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными да сильными почитал, цари-короли полицейских откармливают и на народ науськивают. Разномастных попов развели, попы звоном-гомоном ум отбивают, кадилами глаза туманят. Непонимающий народ отпору не дает, думат — так и надо». Малина твердо уверен, что «наш край и в старо время был бы самолучшим», если бы не эти «злыдни» проклятые.

В сказках Писахова немалое место занимают персонифицированные образы различных народных недругов. Некоторые из этих образов (например, попа Сиволдая, урядника) проходят через ряд произведений писателя и вырастают до сатирически окрашенных социальных типов. Именно в борьбе с душителями воли народной, в их разоблачении и осмеянии Малина особенно хитроумен и изобретателен, особенно неутомим и яр. И именно в этих сценах, в которых коллективистское сознание героя противопоставляется индивидуалистическому мироощущению «богатеев», великолепный юмор сказок, разящий саркастический смех Малины приобретают особенную силу и блеск.

Социальная зоркость — принципиальная черта героя сказок. Она придает картинам Писахова ту полноту, без коей невозможно всестороннее постижение русского национального характера, ту особую одухотворенность, которую мы сегодня называем высоким словом — гражданственность.

Верность Писахова натуре в изображении жизни народа, стремление к правде, безошибочное художественное чутье приводит писателя, казалось бы, к парадоксальным итогам: сказочный, насквозь выдуманный Малина ощущается нами как герой реальный, живой, очень близкий и дорогой нам человек. Но в этом нет ничего парадоксального, потому что Малина — точное отражение жизни, а сказочность его условна. Таково уж удивительное свойство искусства: при помощи вымысла сгущать правду. Вымысел, опирающийся на всестороннее знание жизни, — ценнейшее средство эстетического освоения действительности. Недаром А. М. Горький неоднократно подчеркивал, что художественность без вымысла невозможна, не существует, а Н. Г. Чернышевский считал способность к вымыслу главным свойством поэтического таланта.

Как выдумщик, Степан Писахов поистине грандиозен. Его фантазия мощная, дерзостная. Сеня Малина ошеломляет нас целым каскадом выдумок, таких, что «проглоти перо, не придумаешь». И любая «придумка» Малины, как правило, оригиналь-

ная, не имеющая параллелей в народном творчестве, рожденная неистощимым воображением художника. А отсюда и новизна сюжетов, свежесть композиционного оформления материала.

Возьмите любую сказку Писахова. Нет, это не обычное фольклорное произведение. У нее свое лицо, свой голос, свои краски, своя интонация. Это рассказ, исповедь, патетический монолог, жанровая зарисовка, массовая народная сцена, сколок беседы — все, что угодно, но не традиционная по форме сказка. И как всякое новое слово в искусстве, создания Писахова ведут к новым глубинам в постижении человеческой психики.

У выдумок Малины есть одна примечательная особенность. Они не произвольны. Они обладают кажущимся правдоподобием. Они логичны. Вот, например, мороз. Видимо, он на то и существует, чтобы все замораживать. Стало быть, будь покрепче мороз — и человеческое слово заморозит: «На морозе всяко слово, как вылетит, так и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье, — это, значит, деловой разговор,—домой и несем, дома в тепле слушам, а то и на улице в руках отогрем...» Вот и готов отправной момент для построения уникальной сказки («Морожены песни»).

Писахов втягивает в орбиту сказочных превращений очень широкий круг предметов и явлений. Одним из излюбленных приемов образования новых сказочных сюжетов является у него смелое овеществление сложных природных явлений и отвлеченных понятий. Малина, например, охапками носит тепло, сушит северное сияние, рубит топором туман.

Некоторые фантазии Сени Малины основаны на буквальном осмыслении устойчивых переносных выражений. Мы нередко говорим — «злое слово», «убить словом». Малина умеет писать такие письма, слова в которых ведут себя действительно очень живо: «скочут с бумаги одним концом» и больно бьют кого надо, — «по носу, по уху, а то и по зубам». Таким «письмом мордобитным» Малина «ублаготворил заводчика до очуменности». А губернатора это письмо так отхлестало, что «к концу письма нос губернаторский пухнуть стал, распух шире головы. Губернатор ничего не видит, окромя потолка. Стал голову нагибать, нагибал-нагибал да и стал на четвереньки. Ни дать ни взять — наш Трезорка».

Есть в разговорной речи выражения «пилить» (словом), «кричать пронзительно». Таким пронзительным голосом в рассказах Малины наделяется кума Перепилиха. Та самая, которая ходит «фасонисто, как таракан по горячей печи». Перепилиха своим голосом «медведя проткнула», «мужа наскрозь перепилила». Пришлось заказывать доктору деревянную пробку. Беда бы с «екой жонкой», да нашлись мужики, приспособили Перепилиху «на общественну пользу»: в лесу «чищемины» делать, «дерева да кусты голосом рубить».

Сам Малина в сказках Писахова смело гиперболизируется, часто теряет земные очертания. Он может гостить сразу «в двух гостях», артелью выходить на работу и артелью садиться за стол. У него всего без меры: и сил, и умения, и удали. Если уж потянется он «легкой потяготой», то на все восемнадцать верст, до самого Архангельска-города. А если «вверх вздынется», то уж сразу «до второго неба». Это уже образ-символ, символ народа. Но по существу и эта гиперболизация писателя в основе своей реальна, ибо народу действительно «пределы не поставлены», ему всё подвластно — и расстояния, и выси...

Общая характеристика сказок Писахова была бы далеко не полной, если бы мы умолчали о еще одной грани таланта писателя, — о его изумительном чутье к народному слову.

Язык Писахова бесподобен. Это поистине кладовая великорусской северной речи, сокровищница народных языковых жемчужин, многократно приумноженная образными словами самого писателя. Писахову не нужно было подслушивать разговорную речь для украшения своих произведений, идти в народ за словом. Он глубоко проник в тайну словотворчества, в самую суть народной речи, в законы ее бытования и жизни. Язык народа стал его родной стихией, средством его поэтического мышления.

Прелесть языка Писахова нельзя оценить в полной мере без оглядки на те негативные процессы, которые происходили и, к сожалению, еще происходят в современной литературе. Разве мало у нас писателей, которые в языковом отношении ни на йоту не разнятся друг от друга? Разве мало у нас повестей и романов, похожих по своему слогу друг на друга, как близнецы? Порою, когда читаешь подобного рода произведения, тебя охватывает какое-то странное, но навязчивое ощущение, что все эти книги написал один и тот же автор, очень скучный и очень нудный. Автор, у которого, несмотря на его болтливость, нет языка. А есть лишь набор готовых словоблоков и расхожих речевых конструкций.

Истинные знатоки самобытного народного слова — люди очень редкие и очень нужные для поступательного развития литературы. Это хранители языка. Наставники и учители писателей. Поэты поэтов. Как известно, А. М. Горький чрезвычайно высоко

ценил языковую культуру Демьяна Бедного, его прекрасное владение народным словом. «Он очень богат, — говорил Горький. — У него отличный лексикон, он знает русский язык, и церковнославянский, и речевой язык, знает и то, что называется фольклором, и язык афоризмов и т. д.». В свою очередь Демьян Бедный преклонялся перед языковым талантом Степана Писахова, перед образной словесной вязью его сказок. Он назвал Писахова «словесным колдуном».

Для определения масштаба дарований в литературе нередко прибегают к аналогиям. Сравнивают писателей друг с другом. Но ведь сходство отнюдь не комплимент в искусстве. Аналогии — отнюдь не лучший способ познания особости художника.

Писахова иногда называют Бажовым Севера. Это красиво. Но это неверно. Сходство этих художников между собой не больше, чем сходство между Уралом и Севером. У каждого из них свой особый мир. И мир Писахова нельзя понять через мир Бажова. Да и сам Бажов по этому поводу думал иначе. На своей «Малахитовой шкатулке», посланной в дар северному сказочнику, Павел Петрович Бажов начертал так: «От помутневших, обжитых ручейков к основным истокам, — со среднего Урала в Архангельск Степана Григорьевича Писахова».

Писахов — одухотворенное зеркало Севера. Весь Север со всеми его особенностями отразился в нем. В то же время сам Писахов, как поэт, целиком сформирован студеной землей Беломорья.

Вне этой земли нет Писахова.

Но и поэтический облик Севера трудно представить без преданного ему певца.

Об этом хорошо сказал Леонид Леонов в строчках, адресованных Писахову.

Сказал просто и мудро:

«Без Вас не мыслю Севера».

Ш. Галимов.

ОТ АВТОРА



Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.

Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нем: большой выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.

В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведет. Говорит долго, остановится, спросит:

— Други-товарищи, спите ли?

Кто-нибудь сонным голосом отзовется:

— Нет, еще не спим, сказывай.

Сказочник дальше плетет сказку. Коли никто голоса не подаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки.

Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок.

С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:

— Какой ты горячий, тебя тронуть — руки обожжешь.

Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье:

— Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!

При встрече старуха спросила:

— Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть?

Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост:

Ведь рифмы запросто со мной живут,
две придут сами, третью приведут.

Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске.

Секрет не велик. Я сказал:

— С 1879 года.

— Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?

Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:

— Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью:

А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к.

Народ ютился кругом столба.

Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз — дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал...

Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в «дикий север». Ему хотелось полярных впечатлений.

Оставил я заезжего додумывать: каким был город без домов.

В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» напечатана моя первая сказка «Не любо — не слушай. Мороженые песни».

С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйма, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила». Умер Малина, кажется, в том же 1928 году.

Чтя память безвестных северных сказителей — моих сородичей и земляков — я свои сказки веду от имени Сени Малины.

Ст. Писахов.

Не любо — не слушай



Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят, что придумал я сказать все, как есть у нас. Всю сущу правду, что ни скажу — все правда. Кругом земляки, соврать не дадут. К примеру, река наша Двина в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря. А ездили по ней на льдинах вечных. У нас и ледяники есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да дают в прокат, кому желательно.

Запасливы старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколько годов держится прорубь!

Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали — квас, пиво студили. В стары годы девкам в придано первым делом вечну льдину давали, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить.

Летом к нам много народу приезжат. Вот придут к ледянику да торговаться учнут, чтобы дал льдину получше, а взял бы по три копейки с человека. А транвай в те поры брал пятнадцать копеек.

Ну, ледяник ничего, для виду согласен. Подсунет

дохлу льдину — стару, иглисту, чуть живу (льдины хоть и вечны, да и им век приходит).

Приезжи от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевы, песню заведут. Наши робята уж караулят — крепкой льдиной толконут, стара-то и сыпаться начнет. Приезжи завизжат: «Ой, тонем, ой, спасите!»

Ну, робята подъедут на крепких льдинах, обступят: «По целковому с рыла, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим!»

А мишки белы с моржами, вроде как на жалованье али на поденщине, — свое дело знают. Уж и плывут. Приезжи с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся! А мы-то сами хорошей конпанией наймем льдину. Сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам, коли больше ста — не возьмем, коли сотни нет — значит, к делу гожа; у нас и старики, которым меньше ста, козырем ходят.

На льдину сядем, парус для скорости поставим, а от солнца зонтики растопырим, чтобы не очень припекало. У нас летом солнце-то не закатыватся: ему на одном месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки раз пятьдесят обернется, а коли погода хороша да поветерь, то и семьдесят; коли дождь да мокреть, так солнце отдыхат, стоит.

А на том берегу всяка благодать, всяческо благорастворение. Морошка крупна, ягоды по три фунта и боле, и всяка друга ягода.

Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки порозны к берегу подкатывают да днища заколачивают. А котора рыба побойче — выпотрошится да в пирог завернется. Семга да палтусина ловче всех рыб в пирог заворачиваются. Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают.

Белы медведи молоком торгуют — приучены. Белы медвежата семечками и папиросами промышляют. Птички всяки чирикают: полярны совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северны орлы, пингвины.

Пингвины у нас хоть не водятся, но приезжают на заработки, с шарманкой ходят да с бубном, а ины облизьяной одеваются, всяки штуки представляют, им и не пристало облизьяной одеваться — ноги коротки, ну, да мы не привередливы, нам хоть и не всамделишна облизьяна, лишь бы смешно было.

А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да еще вприсядку пустятся, ну, до уморенья! А моржи да тюлени с нерпами у берега в воде хлюпают да поуркивают — музыку делают по-своему.

А робята поймают кита али двух, привяжут к берегу и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пускать. А бурым медведям ход настрого запрещен. По-зажилью столбы понаставлены и надписи на них: «Бурым медведям ходу нет».

Раз вез мужик муки мешок. Это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу. Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал на манер белого. Стащил лодку да приехал в город: его водой да поветерью несло, он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, а как разживется, и самогоном торговать. Да его узнали — как не узнать? — обличье-то показало! Что смеху было! В воде выкупали. Мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями робята за город прогнали.

Медведь заплакал от обиды. Народ у нас добрый: дали ему вязку калачей с анисом, сахару полпуда да велели кой-когда за шаньгами приходить.



Северно сияние

Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим: день работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит.

Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим, и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду, а к темному времени опять отживается.

А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открывать нельзя: на улице мороз щелкат. Возьмем северно сияние, теплой водичкой смочим и зажжем. И светло так горит, и воздух очищат, и пахнет хорошо.

Девки у нас модницы, выдумщицы, северно сияние в косах носят — как месяц светит! Да еще из сияния звезд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!

Про наших девок в песнях пели:

У зари, у зореньки
Много ясных звезд,
А в деревне Уйме им и счету нет!

Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит.

Звездный дождь

По осени звездный дождь биват. Как только он зачастит, мы его собирам, стараемся.

Чашки, поварешки, ушаты, крынки, ладки, горшки и квашни, ну, всяку к делу подходящу посуду вытащим под звездный дождь. Дождь в посудах устоится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем.

Пиво тако крепко живет. Мы этим пивом добрых людей угощали во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом так звезданем, что от нас кубарем катятся.

Да это не сказка кака, а взаболь у нас так: кругом народ читающий, знающий, соврать не дадут. У нас так и зовется: «не любо — не слушай».

Морожены песни

В прежно время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.

Мы до той поры и в толк не брали, что можно песнями торговать.

В нашем обиходе песня постоянно живет, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.

Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.

В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не

очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было.

На морозе всяко слово как вылетит — и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье — это, значит, деловой разговор — домой несем, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова веселыми стайками перелетали от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить.

Как-то у проруби сошлись наша Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, слова сыпали гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово. По льдинке видно.

— Ты это что? — кричит Анисья, — како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!

И пошла, и пошла, ну, прямо без удержу, до потемни сыпала. Сватья тоже не отставала, как подскочит (ее злостью подбрасывало) да как начнет переплеты ледяны выплетать. Слова-то — все дыбом.

А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяких кислых слов наговорила.

— Ну и я ей навалила, только бы теплого дня дождаться, оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, насквозь прошибет!

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно твое слово. И таки они горлопанихи на том берегу, просто страсть! Прошлу зиму я отругиваться бегала, мало не сутки ругалась, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругалась. Было на уме еще часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила еще на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны — матери потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Робята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мерзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!»

Нарядне нашей деревни нигде не было.

Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!

С этого и повелась торговля песнями.

Как-то шел заморской купец, он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшенье — морожены песни — и давай от удивленья ахать да руками размахивать.

— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!

Изловчился купец да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:

— Что за штуки колки каки, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец и «пустяков» набрал охапку. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да заскакивали кому в нос, кому в рыло. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен назаказывать: в свою страну завезти на полюбование да на прослушанье.

Вот и стали песни заказывать да в особы ящики складывать (таки, что термоящиками прозываются). Песню уложат да обозначат, которо — перед, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне на пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В заморску страну привезли. Народу любопытно, каки таки морожены песни из Архангельскова? Театр набили полнехонек.

Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и всё. Люди в ладоши захлопали, закричали:

— Еще, еще! Слушать хотим!

Да ведь слово не воробей, выпустишь — не поймашь, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»

Коли деньги шлют, значит, не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе, — все принялись песни тянуть, морозить.

Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да брильянты-самоцветы, внучкино вторенье, как изумруды.

Девки поют, бабы поют, старухи поют.

Песня делам не мешат, рядом с делом идет, доход дает.

Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.

Мужики бороды в стороны отвернули, с помешки чтобы бороды слов не задерживали.

— Дакосе и мы их разуважим, свое «почтение» скажем.

Ну, и запели!

Проходящи мимо сторонились от тех песен. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно: пето не для нас, слушать не нам.

Для тех песен особы ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопились.

Заморски купцы приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят:

— Что таки тяжелы сейгод песни?

Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших хозяев напеты. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведется, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрышки». Это-то,

по-вашему, значит — всего хорошего желам. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, спозаранку задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и начали звенеть.

На что заморски хозяева нашему языку не обучены, а поняли!

Своя радуга

— Ты спрашиваешь, люблю ли я песни?

— Песни? Без песни, коли хошь знать, внутрях у нас потемки. Песней мы свое нутро проветривам, песней мы себя, как лампой, освещам.

Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. Девки в песенны плетенки всяку ягоду собирали.

Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранье не терплю! Сам знашь, что ни говорю — верно, да таково, что верней и искать негде.

Раз ввечеру повалился спать на повети и чую: сон

и явь из-за меня друг дружке косье мнут. Кому я достанусь? Сон норовит облапить всего, а явь уперлась и пыжится на ноги поставить.

Мне что? Пущай себе проминаются. Я тихим манером да в сторону, в ту, где девки песни поют.

Мимо песня текла широка, гладка. Как тут устоишь? Сел на песню, и понесло и вызняло меня в далекой вынос.

Девки петь перестали, по домам разошлись, а меня несет выше и выше. Куды, — думаю, — меня вынесет? Как домой буду добираться? В небе ни дороги, ни транвая. Долго ли в пустом месте себя потерять. Смотрю, а впереди радуга. Я на радугу скочил, в радугу вцепился, уселся покрепче и поехал вниз.

Еду не тороплюсь, не в частом быванье ехать в радужном сверканье. Еду, песню пою,—это от удовольствия: очень разноцветно вокруг меня. Радугу под собой сгинаю да конец в нашу Уйму правлю, к своему дому да в окошко. И с песней на радуге в избу и вкатился!

Моя баба плакать собралась, черно платье достала, причитанье в уме составлят. Ей соседки насказали:

— Твоего Малину невесть куда унесло, его, поди, и в живности нет, ты уж, поди, вдова!

Как изба-то светом налилась, да как песню мою жона услыхала, разом на обрадованье повернула. Самовар согрела, горячих опекишей на стол выставила.

В тот раз чай пили без ругани. И весь вечер меня жона «светиком» звала.

На улице уже потемень, а у нас в избе светлехонько. Мы и в толк не берем отчего да и не думам. Только я шевельнусь, свет по избе разныма цветами заиграт!

Дело-то просто, Я об радугу натерся. Сам знашь,

протерты штаны завсегда хорошо светятся, а тут терто об радугу!

Спать пора и нам, и другим.

Свет из наших окошек на всю деревню, все и не спят. Снял рубаху, стащил штаны, в сундук спрятал, темно стало.

В потемки заместо лампы мы рубаху или штаны вешам. И столь приятственный свет, что не только наши уемски, а из дальних деревень стали просить на свадьбы для нарядного освещенья.

Эх, показать сейчас нельзя. Портки на Глинник увезли, а рубаху на Верхно-Ладино. Там свадьбы идут, так над столами мою одежу повесили, как лимонацию. Да ты, гостюшко, впредь гости; на спутье захаживай. Будут портки али рубаха дома — полюбуешься, сколь хорошо своя радуга в дому.

Снежны вехи

Просто дело снег уминать книзу — ногами топчи и все тут. Я вот кверху снег уминаю, делаю это, ковды снег подходящий да ковды в крайность запонадобится.

Вот дали мне наряд дорогу вешить, значит, вехами обставить. А мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил под стать густо. Ветра не было, снег валил степенно, раздумчиво, без спешности, как на поденщине работал.

Я стал на место, куда веха надобна, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, аршин на пятнадцать выстал столб. Я в сторону подался, столб на месте остался.

Я на друго место — и там столб снежный головой намял. И каким часом али минутошно боле я всю дорогу обвешил, столбы лопатой прировнял. Два столба про запас приберег.

Перед самой потеменью солнышко глянуло и так малиново ярко осветило мои столбы-вехи! Я сбоку водой плеснул, свет солнечно-малиновой в столбы и вмерзнул.

Уж ночь настала, темень пала, спать давно пора, а народ все живет, на свет малиновый любуется, по дороге мимо ярких вех себе погуливат.

Старухи набежали девок домой гнать:

— Подите, девки, домой, спать валитесь, утром рано разбудим. Не праздник, всяко, сегодня, не время для гулянки!

А как увидали старухи столбы солнечно-малинового свету, на себя оглянулись. А при малиновом сиянии все старухи как маковы цветы расцвели, и таки ли приятственны сделались.

Старухи сердитость бросили, личики сделали улыбчаты и с гунушками да утушками поплыли по дороге.

Ты знашь ли, что гунушками у нас зовут? Это ковды губки с маленькой улыбочкой — бантиком.

К старухам старики пристали и песни завели, так и песни звончей слышны, и песни зацвели.

А девки — все как алы розаны!

Это по зимней-то дороге сад пошел! Цветики красны маки да алы розаны. Песни широкими лентами огнистыми, тихими молниями полетели вокруг, сами светят, звенят и летят над полями, над лесами, в саму дальну даль.

Вот и утро стало, свет денной в полную силу взошел. Мои столбы-вехи уже не светят, только сами светятся, со светлым днем не спорятся.

Стало время по домам иттить, за каждодневну работу браться. Все в черед стали и всяк ко мне подходил с благодареньем и поклон отвешивал с почтеньем и за работу мою, и за свет солнечной, что я к ночи припас. Девки и бабы в полном согласье за руки взялись до Уймы и по всей Уйме растянулись.

Вся дорога расцвела!

Проезжи мужики увидали, от удивленья да умиленья шапки сняли. «Ах!» — сказали и так до полдён стояли. После шапки надели набекрень, рукавицы за пояс, рожи руками расправили и за нашими девками вослед.

Мы им поучительной разговор сделали: на чужой каравай рта не разевай.

Проезжи не унимаются:

— А ежели мы сватов зашлем?

— Девок не неволим, на сердце запрету не кладем. А худой жоних хорошему дорогу показыват.

В ту зиму к нам со всех сторон сватьи да сваты наезжали. Всякой деревне лестно было с Уймой породниться. Наши парни тоже не зевали, где хотели выбирали.

Нас с жоной на свадьбы первоочередно звали и самолучшими гостями величали.

Ну, ладно. В то-то перво утро, когда все разошлись по домам да на работу, я запасны столбы к дому прикатил да по переду, по углам и поставил прямь окошек. С вечера, с сумерек и до утрешного свету у нас во всем доме светлехонько и по всей Уйме свет.

Прямь нашего дому народ на гулянку собирался, песни пели да пляски вели.

Так и говорили:

— Пойдемте к Малинину дому в малиновом свету гулять!

У меня каждый день гости и вверху и внизу. И свои уемски и городски-наезжи. Моя жона с ног сбилась: стряпала, пекла, варила, жарила, она по Уйме первой хозяйкой живет.

Слыхал, поди, стару говорю:

«Худа каша до порогу, хороша до задворья», а моя жона кашу сварит — до запулья идешь, из сыта не выпадешь.

Наши уемски — народ совестливый: раза два мы их угощали, а потом они со своим стали приходить. Вся деревня. Водки не пили. Сидим по-хорошему, разговаривам, песни поем. Случится молчать, то и молчим ласково, с улыбкой.

Девки к моим малиновым столбам изо всех сил выторапливались. Кака хошь некрасива, во что хошь одета, — как малиновым светом осветит — и с лица кажет распрекрасна и одеждой разнарядна. Да так, что из-под ручки посмотреть!

Говорят: «Куру не накормишь, девку не оденешь, девкам сколько хошь обнов — все мало».

В ту зиму одели-таки девок малиновым светом! Матери сколько денег сберегли, новых нарядов не шили. Наши девки нарядне всех богатеек были!

Баня в море

В бывалошно время я на бане в море вышел.

Пришло время в море за рыбой идти. Все товарищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам да по жониным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слыхал.

Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.

Я не долго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу воткнул жердину с половиком: вышла настояща мачта с парусом. Стару воротину рулем оборотил. Баню натопил, пару нагонил, трубой дым пустил.

Баня с места вскачь пошла, мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами, по воде вавилоны развела.

У бани всякий угол носом идет, всяка сторона — корма. Воротина-руль свое дело справлят, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.

Я в печке помешал, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углами воду за версту зараскидывала, небывалошну, невидалошну одноместну бурю подняла. Кругом море в спокое, берега киснут. А посередке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы.

До кого хошь доведись, переполошится. Со стороны глядеть — похоже и на животину, и на машину. Животина страшна, а машина того страшне. Ну, страшно-то не мне да не нашим уемским.

Рыбы — народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самы свежи, самы новы. Рыбы к бане со всех сторон заторопились.

А мы промышлям.

С судов промышляют по-обнаковенному, по старому заведению. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному. Шайкой в воде поболтаю, рыба думат: ее в гости зовут — и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полок немного накладешь. Стали наши рыбацки суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить. Я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, полно судно отходит, друго подходит. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвощется, от рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготнее.

Чтобы дым позанапрасно не пропадал, в трубе коптилку завели. Это уж без меня. Я баню топил да рыбу ловил.

В коротком времени все суда полнехоньки рыбой набил. Судно не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь. Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальну в море на развод оставили.

К дому поворотились гружены суда. Тут я с баней расстался, за дверну ручку попрощался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить. Мука на воде ровненькой дорожкой от бани до Уймы легла. Легла мучка на морску воду, на рассоле закисла разом и тестяной дорожкой стала.

За нами следом зима шла, морозом пристукнула, вода застыла. Тестяная дорожка смерзлась от середки моря до самой нашей деревни.

Мы в ту зиму на коньках в баню по морю бегали.

Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались видимо-невидимо, мамаевыми полчищами. Мы в баню идем — невода закидывам, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, невода рыбой полнехоньки на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахивам, попоказывам, куда нам поветерь нужна.

У нас в банных вениках пар не успевал остывать, вот сколь скоро домой доставлялись.

Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловишь.

С того разу и повелись зимны рыбны промыслы. Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестяну дорожку растолкали, и понесло ее по многим становищам хорошему народу на пользу. К весне тесто в море в полну пору выходило. Промышленники тесто из моря в печки лопатами закидывали. Который кусок пекся караваем, а который рыбным пирогом — рыба в тесто сама влипала. Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в охотку.

С той поры, как баня жаром да паром море нагревать стала, и потепление пошло, и льды пораздвинулись, и зимы легче стали.

На треске гуляли

Был у нас капитан один, звали его Пуля. Рассказывал как-то Пуля:

— Иду мимо Мурмана. Лежу в каюте у себя. Машина постукиват исправно, как ей полагается, а чую, нет ходу. Вышел на мостик, глянул — стоим!

— Что за оказия?

Посмотрел на корму, а от винта широченным кругом треска глушенна вскидыватся, взблескиват серебром. Винт колотит, рыбинами брызжет. А пароход — на месте! Мы на треску наехали.

Матросы пристали ко мне, канючат:

— Дозволь, капитан, рыбу взять. Столько добра задаром пропадат! И трюмы у нас пусты!

Ну, ладно, позволил. Пароход полнехонек набрали. Сами зиму ели да приятелям раздавали в угощенье.



Да что Пуля! Я вот сам на лодчонке выскочил в океан (тоже на Мурмане дело было), от артели поотстал да вздремнул и сон такой ладный завидел, да лодка со всего ходу застопорила разом. Я чуть за борт не вытряхнулся!

Протер глаза — я со всего парусного да поветренного ходу на косяк трески налетел.

В беспокойство не вошел: не к чему себя тревожить. Оглядел косяк, глазами смерил — вышло на много километров длиной, палкой толщину узнал — вышло двадцать пять метров. Дело подходяще: ехать можно.

А на тресковой косяк лесу всякого нанесло. Смастерил избушку, развел огонь, сварил уху. Рыба тут. На рыбе еду, рыбу варю. Поел, поспал, поел, поспал. Меня треска и кормит и везет.

Пора бы к дому сворачивать. А весь косяк хвостом мотнул да на север повернул. И понеслись мы мимо Новой Земли, в океан Ледовитой.

На стречных льдинах знаки ставил алыми платоч-ками, что жоне с Мурмана вез. Погулял и домой пора.

Высмотрел вожака-рыбу, накинул узду. И так ладно вышло! Правлю, куда надо, весь косяк вожжой поворачиваю. К дому свернул. Шибче парохода шел.

В городе у рыбной пристани углом пристал. Пристал и почал торговать свежей треской: на что свеже — жива в воде.

Продавал дешевле богатеев-рыбаков. Покупатели ко мне валом валили.

Смотрящи, лицезрящи на берегу столпились. Всем антиресно поглядеть на тресковый косяк.

Я пущал гулять по треске. Малых робят с учительшами пущал задарма, а с других жителей по копейке брал.

— Да ты, гость разлюбезный, кушай, ешь треску-то! Из того самого стада, на котором я ехал, только уж не обессудь — посолена.

Белый медведь полюсной

Я тебе не все еще обсказал, что в море было.

Знаки-то я поставил, ветер платки полощет. Платок алый, что огонь взблескиват, что голос громкий песню вскрикиват.

Когда еще кто увидит его, а медведь заприметил да ко мне. А у меня не то что ружья, а и ружьишка завалящего нет никакого. Одначе, варю себе треску, ем и в ус не дую.

Медведь наскочил на косяк, лапами хватат, а рыба в воде склизка. С краю за рыбий косяк ни в жизнь не ухватиться!

Сам-то я сижу на середке: мне что, а ты достань! Медведь с ярости начал рыбу жрать, столько нажрал, что брюхо полнехонько и одна рыбина в зубах застряла.

Я медведя веревкой достал и шкуру снял.

Погодь, сейчас покажу, сам увидишь, что медведь полюсной, шкура большаща, шерсть длинняща. Жона из шерсти всяко вязанье наделала. И тако носко — чем больше носишь, тем нове становится.

Дакося привстану да шкуру достану, чтобы ты не думал, что все это я придумал.

Ох, незадача кака! Ведь я запамятовал, что шкуру-то губернаторский чиновник отобрал. Увидел у меня. Я шкурой зимой дом закутывал: так и жили в теплой избе и топили саму малость, только для варева да для печенья. Теплынь была под шкурой!

Пристал чиновник:

— Не отдашь — в Сибирь!

Взял я шкуру полюсного медведя, шерсть снял, вот тут-то моя баба и взялась за пряжу. Кожа была мягка, толста, я и ее содрал. Шкуру без шерсти да без кожи (что осталось — и сам не знаю) свернул и отдал чиновнику, сказал, что так сделал нарошно, чтобы везти было легче. Чиновники в ту пору понимания настоящего не имели, только грабить ловко умели.

Белы медведи

Вот теперича на Нову Землю ездить стало нипочем. А в старо время, когда мы, промышленники, туда дорогу протаптывали, своими боками обминали, солоно доставалось.

К примеру, скажу о первой попаже на Нову Землю и как белы медведи меня ловили, а я их поймал.

Пришел, значит, пароход к Новой Земле. Меня на берег выкинули. Да как выкинули! От берега далеко остановились: к месту подхода не знали. Чиновник, что начальствовал на пароходе, говорит:

— Нет расчета в опасно место соваться, к берегу подходить, швырнем на веревке, за веревку промыслом заплатит.

Меня веревкой обвязали, размахали, да и кинули на берег. Свистком посвистели, дымом, как хвостом, накрылись и ушли.

Остался я один. Кругом голо место, и посередке камень торчит, и всего один. А у берега лесу нанесло множество.

Я веревку за камень прихватил, другим концом давай бревна на берег вытаскивать. И стал дом строить.

Выстал дом уж высоко, только окон да дверей не прорубил, топора не было, да крышей не успел покрыть.

Место, в которо меня выкинули с парохода, медвежье было, проходно для медведей, вроде медвежьего постоялого двора. Белый медведь высмотрел меня и ко мне со всех ног, а мне куда себя девать? Место голо, в дом без дверей да без окошек не скочишь. Я привязался к концу веревки да от медведя кругом камня, а медведь за мной, что сил есть, ухлестыват. Веревка натянулась, я оттолкнулся ногами от земли, меня на натянутой веревке и понесло кругами.

Медведь по земле лапы оттаптыват. Я ногу на ногу закинул, цигарку закурил, дым пустил, медведя криком подгоняю. Мне что, меня выносом несет, я и устали не знаю, сижу себе да кручусь.

Медведь из силы выбился, упал, ему дыханье сперло. Я веревку укоротил, медведя дернул за хвост, в дом бескрышной закинул.

Гляжу — опять медведь. Я и этого таким же ходом прокрутил до уморенья и в дом закинул. Медведи один за одним идут и идут.

Мне дело стало привычно, я и ловлю.

К осеннему пароходу наловил медведей ровно сто!

Чиновник счет расчет произвел, высчитал с меня и за землю, и за воду, и за всех сто медведей. Мне один пятак дал. Пятак дал, да две копейки с грошом отобрал на построение кабака и говорит:

— Понимай нашу заботу о вас, мужиках. Здесь на пустом месте кабак поставим да попа со звоном посадим. Это когда с вас, мужиков, денег насобирам.

Я знал, что чиновники слушают, только когда им выгода есть. Я и подзадорил чиновника самому для себя медведей ловить. Чиновник до конца и слушать не стал, на наживу обзарился, веревкой обвязался — и бегом кругом камня! Я его слóвом подгоняю:

— Шибче бежи, ваше чиновничество, скоро медведь тебя увидит, за тобой побежит.

Медвежья пора прошла в этом месте.

Чиновник подскочил, веревка натянулась, чиновника высоко подняла. Заместо медведя наскочил ветрище с грозищей. Я только малость веревку надрезал. Ка-ак рванет чиновника! Веревка треснула.

Чиновника унесло. Над морем пронесло. В Норвегу, в город Варду, да там с громом, с молнией среди города с неба кинуло.

Норвеги в перепуге.

— Андели, что такое? — кричат, — не иначе как небесный житель из раю!

Поп норвежский в колокол зазвонил, кадилом замахал и к чиновнику пошел. Прочий народ дожидат дозволения прикладываться к небожителю.

Чиновник очухался, огляделся да как заорет на попа и на всех норвегов. Те слов не поняли, а догадались, о чем чиновник кричит. Попу говорят:

— Коли таки жители в раю, то мы в рай не хотим!

Норвежский полицейский просмотрел гостя, услыхал винной запах, увидал светлы пуговицы, признал чиновника и говорит:

— Этот нам нужен: чиновники для нас, полицейских, первы помощники, народ в страхе держать да доходы собирать.

Поп норвежский свое кричит:

— Ни в жизнь не отступлюсь, ни в жизнь не отдам этого святого. В нашем поповском деле чиновник нужне, чем в вашем полицейском. А вам, полицейским, без нас, попов, с народом не справиться. Мы через этого святого большой доход заимем.

Чиновника унесло, мне легче стало. Я дом на воду столкнул. Хорошо, что без окон, без дверей, — вода не зашла. Медведей — всех сто — запряг и поехал на медведях по морю. Скоре всяких пароходов. Да что пароходы, им надо дорогу выбирать, а я и по воде и по суху на медведях качу. Под дом полозья из бревен наколотил, оно и легко. Дом вот этот самый, в котором сидим. Потрогай рукой, потопай ногой — настоящий, из заправдашнего леса. Тронь — и будешь знать, что я все правду говорю.

Медведи — ходуны, им все ходу дай. Запряг медведей и поехал по городам. За показ деньги брал и живьем продавал. Одного медведя купили для отсылу в Норвегу, сказывали, чиновник заказывал купить.

Пожалел я норвегов, что все еще со святым возятся, да подумал: «Натерпятся — сами за ум возьмутся».

Белуха

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышлям.

Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белугу дожидался, — нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму-канбалу и в свойстве.

Так вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товарищи-артель караулить посылали. Как заподымаются белы спины, я должон артели знать дать.

Без дела сидеть нельзя. Это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили. «Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, кабы ум в пору!»

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.

Море взбелилось!

Белуха пришла, играт, белы спины выставлят, хвостами фигурныма вертит.

Я в становище шапкой помахал, товарищам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил и попал!

Рванулся белуший вожак и так рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться.

Все белушье стадо поворотило в море, в голоменье — в открыто место, значит, от берега дальше.

Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби — чаще взглядывай, плыви не плыви — чаще над водой выскакивай!

Я плыву, я выскакиваю да над водой спину выгибаю.

Все белы, я один черный. Я нижно белье с себя стащил, поверх верхней одежи натянул. Тут-то и я по виду взаправдашной белухой стал: то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами как хвостом вывертываю. Со стороны поглядеть — у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше, белухи пудов на семьдесят, а я своего весу.

Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.

Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволенья промысел вели. Они вороваты да увертливы.

Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут, в спину гарпун влепят.

Я кинул в вожака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов на мелко место правлю. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.

Я вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.

Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыл узорочье осталось в густоте туманной. Те узоры я в память взял, нашим бабам, девкам обскаал.

И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!

Я ногами выкинул и на тумане «мыслете» написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становищу.

Я дальше ногами писать принялся и отписал товарищам:

«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед нами на мели сидят.

Мы море раскачали!

Рубахами, шапками махали-махали. Море сморщилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и смыла иностранны суда, как слизнула с мели.

Министер на охоте

Пошел я на охоту, еды всякой взял на две недели. По дороге присел да в одну выть все и съел. Проверил боевы припасы, — а всего один заряд в ружье. Про одно помнил — про еду, а про друго позабыл — про стрельбу.

Ну, как мне, первостатейному охотнику, домой ни с чем идтить?

Переждал в лесу до утра.

Утром глухари токовать почали, сидят это рядком. Я приладился — да стрелил.

И знашь, сколько? Пятнадцать глухарей да двух зайцев одной пулей! Да еще пуля дальше летела да в медведя: он к малиннику пробирался.

Медведя, однако, не убило, он с испугу присел и медвежью болезнь не успел проделать — чувства потерял! Я его хворостинками прикрыл, стало похоже на муравейник и вроде берлоги.

Глухарей да зайцев в город свез, на рынке продал.

А в город министер приехал. Охота ему на медведя сделать охоту.

Одиновы министер уже охотился. Сидел министер в вагоне, у окошка за стенку прятался. Медведя к вагону приволокли, стреножили, намордник надели. Ружье на подпорку приладили. Министер-охотник за шнурочек из вагона дернул да со страху на пол повалился. А потом сымался с медведем убитым. В городу евонну карточку видел.

Министер вроде человека был и пудов на двенадцать. Как раз для салотопенного завода.

Вот этому «медвежатнику» я медведя и посватал. Обсказал, что уже убит и лежит в лесу.

Ну, всех фотографов и с рынку и из городу согнали, неустрашимость министеровску сымать.

К медведю прикатили на тройках. Министер в троешный тарантас один едва вперся. Вот вытащился «охотник»! А наши мужики чуть бородами не подавились — рот затыкали, чтобы хохотом не треснуть.

Взгромоздился министер на медведя и кричит:

— Сымайте!

А я медведя скипидаром мазнул по тому самому месту. Медведь как взревет, да как скочит!

Министера в муравьину кучу головой ткнуло. Со страху у министера медвежья болезнь приключилась. Тут и мы, мужики, и фотографы городски, и прихвостни министеровски — все впокаточку от хохоту, и ведь цельны сутки так перевертывались: чуть передохнем, да как взглянем — и сызнова впокаточку!

А медведь от скипидару да от реву министерсково, да от нашего хохоту так перепугался, что долго наш край стороной обходил.

А на карточках тако снято, что и сказывать не стану.

Только с той поры как рукой сняло: перестали министеры к нам на охоту приезжать.

Морожены волки

На что волки вредны животны, а коли к разу придутся, то и волки в пользу живут.

Дело вышло из-за медведя.

По осени я медведя заприметил.

Я по лесу бродил, а зверь спать собирался. Я притаился за деревом, притаился со всей неприметностью и посматривал.

Медведь на задни лапы выстал, запотягивался, вовсе как наш брат мужик, когда на печку али на полати ладится. Мишка и спину, и бока чешет, и зеват во всю пасточку: ох-ох-охо! Залез в берлогу, ход хворостиной заклал.

Кто не знат, ни в жизнь не сдогадается.

Я свои приметины поставил и оставил медведя про запас.

Зимой я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий?

Иду себе, барыши незаработанны считаю.

Вдруг волки! И много волков.

Волки окружили. Я до того не замечал холоду, и



было-то всего градусов сорок с малым, а тут сразу озяб.

Волки зубами пощелкивают. Мороз крепчать стал, до ста градусов скочил. На морозе все себя легче чувствуют, на морозе да при волках я себя очень легко чуял. Подскочил аршин на двадцать пять, за ветку ухватился. Дерево потрескиват на холоду, а мороз еще крепчат. По носу слышу — градусов на двести!

Волки кругом дерева сидят да зубами пощелкивают, подвывают, меня поджидают, когда свалюсь.

Сутки провисел на дереве. И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило.

Я разгорячился! Да так разгорячился, что бок ожгло! Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была, так вода от моей горячности вскипела.

Я бутылку вытащил, горячего выпил, ну, тут-то я житель, с горячей водой полдела висеть.

На вторы сутки волки замерзли, сидят с разинутыми пастями. Я горячу воду допил и любешенько на землю спустился.

Двух волков шапкой надел, десяток на себя навесил заместо шубы, остатных волков хвостами связал, к дому приволок. Склал костром под окошком.

И только намерился в избу идти — слышу колокольчик тренькает да шаркунки брякают.

Исправник едет!

Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом-мужиком исправник по-человечески не разговаривал):

— Что это, — кричит, — за поленница?

Я объяснил исправнику:

— Так и так, как есть это волки морожены, — и добавил: — Теперь я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь.

Исправник моих слов и в рассуждение не берет, волков за хвосты хватат, в сани кидат и счет ведет по-своему:

В счет подати,
В счет налогу,
В счет подушных,
В счет подворных,
В счет дымовых,
В счет кормовых,
В счет того, сколько с кого,
Это для начальства,
Это для меня,
Это для того-другого,
Это для пятого-десятого,
А это про запас!

И только за последнего волка три копейки выкинул. Волков-то полсотни было.

Куда пойдешь — кому скажешь?

Исправников-волков и мороз не брал.

В городу исправник пошел лисий хвост подвешивать.

И к губернатору, к полицмейстеру, к архиерею и к другим, кто поважней его — исправника.

Исправник поклоны отвешиват, ножки сгибат и говорит с ужимкой и самым сахарным голосом:

— Пожалте мороженого волка под ноги заместо чучела.

Ну, губернатор, полицмейстер, архиерей и други прочи сидят, важничают — ноги на волков поставили. А волки в теплом месте отогрелись, отошли и ожили. Да начальство за ноги! Вот начальство взвилось. Видимость важну потеряло и пустилось вскачь и наубег!

Мы без губернатора, без полицмейстера да без архиерея с полгода жили — отдышались малость.

Своим жаром баню грею

Исправник уехал, волков увез. А через него я пуще разгорячился.

В избу вошел, а от меня жар валит. Жона и говорит:

— Лезь-ко, старик, в печку, давно не топлена.

Я в печку забрался и живо нагрел. Жона хлебы испекла, шанег напекла, обед сварила, чай заварила — и все одним махом.

Меня в холодну горницу толкнула. Горница с осени не топлена была. От моего жару горница разом теплой стала. Старуха из-за моей горячности ко мне подступиться не может, плеснула на меня водой, чтобы остынул, а от меня пар пошел, а жару не убыло.

Поволокла меня баба в баню. На полок сунула и давай водой поддавать.

От меня жар! От меня пар!

Жона хвощется-парится, моется-обливается. Я дождался, когда голову намылит, глаза мылом улепит, из бани выскочил, домой бежать, а меня уж дожидались, моего согласия не спросили, в другую баню потащили. И так по всей Уйме я своим жаром бани нагрел. Нет, думаю, пока народ парится, я дома спрячусь — поостыну.

Налим Малиныч

Было это давно, в старопрежно время. Я в те поры не видал еще, каки парады живут.

По зиме праздник был. На соборной площади парад устроили. Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался.

Я пришел поглядеть.

От толкотни отошел к угору, сел к забору, призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно, знаю — на холосту заряжены.

Как из пушек грохнули! Меня как подхватило, выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли! Покрутило да как об лед ногами! (Хорошо, что не головой). Я лед пробил и до самого дна пошел. Потемень в воде. Свету, что из проруби, да скрозь лед чуточку сосвечиват.

Ко дну иду и вижу — рыба всяка спит. Рыбы множество. Чем глубже, тем рыба крупне.

На самом дне я на матерущего налима наскочил. Спал налим крепкой спячкой. Разбудился налим и спросонок — к проруби. Я на налима верхом скочил, в прорубь выскочил, на лед налима вытащил. На морозном солнышке наскоро пообсох, рыбину подмышку — и прямиком на Соборну площадь.

И подходящий покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигат себя. Ножки ставит мерно, будто шагам счет ведет. Что шаг, то пятак, через дорогу — гривенник. Сапожками скрипит, шелковой одежой шуршит.

Я подумал: «Вот покупатель такой, какой надо».

Зашел протопопу спереду и чинный поклон отвесил.

Увидал протопоп налима, остановился и проговорил:

— Ах, сколь подходяще для меня налим на уху, печенка на пашкет. Неси рыбину за мной!

Протопоп опять ногами шевелить стал. Ногам скорости малость прибавил, ему охота скоре к налимьей ухе. Дома мне за налима рупь серебряной дал, велел протопопихе налима в кладовку снести.

Налим в окошечко выскользнул и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел.

— Кабы еще таку налимину, в полный мой аппетит будет!

Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла. Налим тем же ходом в окошечко да и опять ко мне.

Взял я налима на цепочку и повел, как собачку, налим хвостом отталкиватся, припрыгиват — бежит.

На транвай не пустили — кондукторша требовала бумагу с печатью, что налим не рыба, а охотничья собака.

Мы и пешком до дому доставились.

Дома в собачью конуру я поставил стару квашню с водой и налима туда пустил. На калитку налепил записку: «Остерегайтесь цепного налима».

Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать «Налим Малиныч».

Апельсин

Дак вот ехал я вечером на маленьком пароходишке. Река спокойнёхонька, воду пригладила, е небом в гляделки играт — кто кого переглядит. И я на них загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чищу и делаю это дело мимодумно.

Вычистил апельсин и бросил в воду, в руках только корка осталась. При солнечной тиши да яркости я и не огорчился. На гладкой воде место заприметил. Потом, как семгу ловить выеду, спутье не спутье, а приверну к апельсинову месту поглядеть, что мой апельсин делат?

Апельсин в рост пошел, знат, что мне надо скоро, — растет-торопится, ветками вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над водой размахался большим зеленым деревом и в цвет пустился.

И така ли эта была распрекрасность, как кругом вода, одна вода, сверху небо, посередке апельсиново дерево цветет!

Наш край летом богат светом. Солнце круглосуточно. Апельсины незамедлительно поспели. На длинных ветвях, на зеленых листах как фонарики золоты поблескивают.

Апельсинов множество, видать, крупны, сочны, да от воды высоко — ни рукой, ни веслом не достанешь, на воду лестницу не поставишь.

Много городских подъезжало, вокруг кружили, только всё безо всякого толку.

Раз буря поднялась, воду вздыбила. Я в лодку вскочил, карбасов штук пятнадцать с собой прихватил, к апельсиновому дереву подъехал. Меня волнами подкидыват, а я апельсины рву. Пятнадцать карбасов нагрузил с большими верхами, и лодка полнехонька. На самой верхушке один апельсин остался. Пятнадцать карбасов да лодку с апельсинами в деревню пригнал. Вся деревня всю зиму апельсинами сыта была.

Меня раздумье берет, как достать остатний апельсин. В праздник, в тиху погоду подъехал в лодочке к апельсиновому дереву. А около дерева тоже в лодочке франт да франтиха крутятся. Франт весь обтянут-

перетянут — тонюсенький, как былиночка. А франтиха растопоршена безо всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахиват:

— Ах, ах! Как мне хочется апельсина! Ах, ах! Не могу ни быть, ни жить без апельсина.

Франт отвечат:

— Для вас апельсин? Я-с сейчас!

Поднялся обтянутой, тонконогой и, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, на лодку упал, на саму корму. Лодка носом выскочила, франтиху выкинуло. Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и завертелась, как настояща пловуча животна!

Франт в лодке усиделся, франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез.

Франтиха на лице приятность показыват, ручкой помахиват и так громко говорит:

— Теперь ненавижу в лодках ездить, как все, и ах как антиресно по реке самоходом гулять наособицу!

Городски франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими словами, сладким голосом на берегу гуляющих дразнить. Франтихи в воду десятками скакать почали.

Народ, который безработный был, много в тот раз заработали — мокрых франтих из воды баграми выволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганно представленье.

К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин достал.

Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на себя любуется.

Я стал апельсин чистить без торопливости, с раздумчивостью.

Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил.

С промыслом мимо чиновников

В старопрежно время над нами, малограмотными, всячески измывались да грабили. К примеру скажу: приходили мы с промысла и чуть к берегу причаливали — чиновники да полицейски уж статьи выписывали и сосчитывали, сколько взять:

Приходно,
Проходно,
Причально,
Привально,
Грузово,
Весово!

Это окромя всяких сборов, подборов, налогов да взяток.

И мы свои извороты выдумывали.

Раз акулу добыли. Страшенна, матеруща, увязалась за нами. Акула в море, что щука в реке, что урядник в деревне. Щуку ловим на крючок и акулу на крючок. На щуку крючок с вершок, а на акулу крючище сладили аршин десять, для крепости с якорем запустили.

Акула дожидалась, разом хапнула и попалась!

Сала настригли полнехонек пароход, все трюмы набили и на палубе вровень с трубой навалили. Шкуру акулью за борт пустили.



Налетел шторм. Ревет, шумит, море выворачиват! А мы шкурой от бури загородились, нас и не качат. Едем, чай пьем, песни распевам, как в гостях сидим.

К городу заподходили. Жалко стало промысел в чиновничью ненасытну утробу отдавать.

Мы шкурой акульей пароход накрыли и перевернули кверху килем. Едем, как аварийны, переоболоклись во все нежелобно, староношено. Лица кислы скорчили, видать, что в бурю весь живот потеряли.

Ну, мы-то мы, про нас неча и говорить, а пароход-то, пароход-то, подумай-косе! Ведь как смыслящий, тоже затих, машину пустил втихомолку, а винтом ворочал и вовсе молчком.

Нам страховку выдали и вспомоществование посулили. Посулить-то посулили, да не дали, да мы не порато и ждали.

Проехали с промыслом мимо чиновников — само опасно это место было. Пароход перевернули, он и заработал в полный голос, и винтом шум поднял, и засвистел во все завертки!

Сало той акулы страсть како скусно было. Мы из того сала колобы пекли и таки ли сытны колобы, что мы стали впрок наедаться. И так ведь было: колоб съешь — два месяца сыт!

У нас парень один — гармонист Смола — наелся на год разом. И показывался ездил по ярманкам. Сделали ему ящик стеклянный с дырочкой для воздуху.

Смолу смотрели, деньги платили, а он на гармони нажаривал. И все без еды, и ись не просит, и из ящика не просится. Учены всяки наблюдения делали: и как дышит, и как пышет.

Попы Смолу святым хотели сделать и доход обещались пополам делить, да Смола поповского духу стеснялся.

Год попоказывался, полну пазуху денег накопил и устал. Сам посуди, как не устать: глядят да глядят, до кого хошь доведись — устанет.

Мне эти колобы силу давали. Жона стряпат да печет, а я ем да ем. Жона только приговариват:

— Не в частом виданьи еки колобы, да в сытом еданьи. Ешь, ешь, муженек, я сала натоплю, да еще напеку!

Наелся я досыта. И така сила стала у меня, что пошел на железну дорогу вагоны переставлять, работал по составу составов. Вагоны одной рукой подымаю и куды хошь несу. Составы одноминутно составлял.

Раз слышу: губернатор с чиновниками идет и слова выкидыват таки:

— Потому это я ехать хочу, что с кажной версты получу прогоны за двенадцать лошадей, доходно дело мне ездить, еда и проезд готовы.

«Ох, ты, — думаю, — прогоны получит, а деньги с кого? Деньги с нас, с мужиков да с рабочих».

Стал свору губернаторских чиновников считать и в уме держу, что всякому прогоны выплатят.

Слышу пенье-завыванье. Заголосили голоса пронзительны, а за ними толсты зарявкали. Я аж присел и повернулся.

К поезду архиерей идет, его монашки подпирают и визжат скрозь уши. За монашками дьякона-басищи, отворят ротищи, духу наберут, ревом рыгнут — так земля трясется.

Монашки все кругленьки, да поклонненьки, буди куры-наседки, идут, да клюют, и без устали поют.

Чиновники индюками завыступали перед монашками.

А я все счет веду: архиерею опять за двенадцать лошадей, монашки да дьякона тоже взять не опоздают.

Вот дождал, ковды все в вагон залезли. Хватил тот вагон да в лес, в болото снес с губернатором, с архиереем и со всей ихней сворой.

Сам скоре домой, чаю горячего с белыми калачами напился, и сила пропала. От чаю да от калачей белых человек слабнет. Для того это сделал, чтобы по силе меня не разыскали.

Губернатор да архиерей с сопровожатыми из вагона вылезли, в болоте перемазались, в частом лесу одежу оборвали. До дому добрались в таком виде, что друг на дружку не оглядывались.

В тот раз и за прогонами не поехали.

Брюки восемнадцать верст длины

Выспался я во всю силу. Проснулся, ногами в поветь уперся и потянулся легкой потяготой. До города вытянулся — до города не сколь далеко, всего восемнадцать верст. Вытянулся по городу до рынка, до красного ряда, где всякима материями торгуют.

Купцы лавки отворили. Чиновники да полицейски в лавки шмыгнуть хотели, взять с купцов по взятке — это для почину, кому сколько по чину.

Я руки разминаю после хорошего спанья, чиновников по болотам, по трясинам кинаю. Полицейски подступиться боятся.

Модницы-чиновницы пришли деньги транжирить — мужья не трудом наживали, жонам нетрудно проживать. Я топтать себя разрешения не дал — модницам до лавок ходу нет.

Купцы ко мне с поклоном и с вежливым разговором:

— Ах, как оченно замечательно хорошо, Малина, что ты чиновников и полицейских по болотам распределил. Они хоть нам и помогают, да умеют и с нас шкуру сдирать. А без модниц мы за выручкой сидим без выручки. Сколько хочешь отступного за освобождение прохода?

— До денег я не порато падок, сшейте мне штаны на теперешний мой рост. Рубаху с вас не прошу — домотканну ношу. Мера штанам, пока дальше не вытянулся, восемнадцать верст, прибавьте на рост пять верст.

У купцов брюха подтянулись, рожи вытянулись, рожи покраснели, глаза побелели. Купцы и рады бы полицейских позвать, да те далеко, до болота не ближной конец!

Материю собрали, штаны сшили восемнадцативерстовые с пятиверстовым запасом. Я рынок освободил: вызнялся у себя на повети. Брюки упали матерчатой горой, всю деревню завалили. На мой рост один аршин с малым прибавком надо.

По жониному зову все хозяйки сбежались с ножницами, с иголками и принялись кроить, резать, шить, петли метать, пуговицы пришивать. В одночасье все мужики, старики и робята в новы брюки оделись, всем достало. У нас с тех пор ни один мужик, ни один старик без брюк не ходит. Приезжайте, поглядите.

Купцы с нас во все времена тянули, сколько их силы было. Довелось и мне потянуться и с купцов стянуть штаны на всю деревню.

Медведь от поповского нашествия избавил

Потянулся я да в лес.

А утром ранним да при первом солнышке всяко место праздником живет. И дерёва, и кустики, и травка расправляются, улыбаются, здороваются. Птицы и всяка живность празднуют всяк по-своему.

Я бы, может, и долго на праздник утрешний глядел (ведь всяк день по-новому), да увидел наших хозяек домовитых, деловитых, по грибы, по ягоды торопят себя, заветными дорожками кривуляют, одна другу обгоняют. Кажна норовит вперед заскочить и ягодны, грибны места захватить.

Мне ихны места не подо что, я свои найду. Потянулся я за болотны топи-трясины, куда ни ногой не пройдешь, ни лодкой не проедешь. Грибов там! Место не тревожено, грибница не рвана, не порчена. Грибы живут большущими артелями, кучами с деревню. Я рукой махнул — и разом на две двурушных корзины сгреб.

Рукой помахиваю с грибного места в деревню, всем хозяйкам к дому, к самому порогу по этакой охапке грибов поставил, ну, и своей жоне столько же и с прибавком.

Повернулся на ягодны места.

На нетоптаных местах, на неломаных кустах ягодто, ягод! Видимо-невидимо!

Я вытянутой рукой, пригоршней чуть шевельнул и собрал — ежели на пуды, то, пожалуй, с два, да что с два, прямо скажу, — пять пудов ягод в одну горсть собрал!

Я без торопливости, чтобы ягоды не мять, стал их пригоршнями собирать и всем хозяйкам к дому по горсти пятипудовой насыпал. И своей хозяйке тоже.

Сел на повети, у меня и устали нет, ногами не топал, а руками помахал, только поразмялся.

Грибницы, ягодницы домой шли усталы, сердиты, переругивались, а как увидали грибы да ягоды у своих изб — все заулыбались, голоса ласково зазвенели, будто песни запели, и с мужиками не ругались.

На всю деревню одна попадья своего Сиволдая всяко ругала, что без ягод, без грибов осталась. Нам-то чужо дело и вроде как забавно.

Поп Сиволдай в большом недовольствии был. Как так! Вся деревня в согласии, вся деревня с ягодами, с грибами, а он, поп, с руганью?

Свернулся, скрутился поп Сиволдай и в город уехал, а жалиться не на что. И стал Сиволдай чужим добром хвастать. Всем протопопам, попам стал рассказывать, каки около Уймы места ягодны да грибны. Ягод, грибов брать не обрать, да еще останется.

Весь поповский народ в один голос пропел:

Коли мы придем,
То все соберем,
Окроме нас,
Никому ничего не достанется.
После нас
Ни ягод, ни грибов не останется!

А я после ягод да грибов, потягиваясь, повернулся по лесу, высмотрел медведей в логовах-берлогах. К медведям телефоны провел. Коли на охоту идтить, так сперва справиться, дома ли, чтобы занапрасно время не терять и самому не уставать.

С ближним медведем я часто разговаривал. С повети позвоню, а медведь один, некому за него отговориться, что дома нету, ну, и мырчит:

— М-м-м?

— Мишенька, это я говорю, Малина.

— М-м.

Это значит: слушат. Медведь слушат хорошо ежели разговор с «мы» начнешь. Перво дело он сам «мы» — медведь, а второ дело «мы» — малина, мед, масло — это медведю первеюще угощенье, ну, и други «мы» — мясо, молоко — медведь хорошо слушат.

С ближним медведем у меня большо согласие было, он наших коров не трогал, был вроде пастуха, а мы его шаньгами угощали по праздникам. Медведь не любил, ежели к нему приходили, спать ему мешали, мне он люб уменьем сказки слушать. Я на повети сижу, како-либо дело справляю и по телефону медведю сказку плету — без слушателя сказка не складыватся. Медведь слушат, а у меня сказки накапливаются.

Медведь-то нас от поповского нашествия избавил.

Собрались городски попы к нам по ягоды, по грибы. От поповского ходу дорога стемнела, столько их шло. Пришли с вечера, утром до свету на наши места заповедны двинулись темной тучей ползучей.

Я медведю по телефону позвонил — медведь сытый был, спал еще, спросонок добрым голосом ответил:

— М-м-м?

— Мишенька, толстолапонька, пугни-ка поповску ораву, в наш лес по грибы пошли, хотят всю малину обрать, тебе ягодки не оставят.

Медведь, слышу, живот сытый чешет, лень медведю выходить:

— М-м-м...

— Мищенька, толстомясонька, попы идут, дьяко-

нов ведут, все ягоды соберут, много сожрут, больше того притопчут.

— М-м... м-м...

Покряхтел медведь у телефона и еще гукнул: м-м. И трубку повесил. Слышу, взревел медведь на весь лес, на все болота, на всю округу: нагнал страху-оторопи на всех Сиволдаевых гостей.

Бросилось все черно стадо из лесу, за кочки запинаются, за кусты цепляются, длинны подолы обрывают, в мокры места просаживаются, в сухих хвойниках перевертываются.

Медведь только пятерым-десятерым легонько лапой по заду цапнул, и то играючи — медведь-то сытый был. А что крику поднялось! Страсть!

Попы на меня судье жалобу подали, да пожалели, поскупились к жалобе добавленье масляное али денежное сделать. Судья на них осердился, едва читат, едва слушат.

Меня в город вытребовали. Мне что: зовут — пришел, не я жалобу подавал, не мне взятку давать.

Судья меня сердито спрашиват:

— Ты медведя по лесу гонял, медведем попов пугал?

Мой ответ прост и короток:

— В ту пору нога моя из повети не выходила, кого хошь спроси — все одно скажут.

Судья к попам:

— Верно ли говорит Малина, что нога евонна с повети не выходила?

Главный протопоп руками махнул, и все запели:

Это верно, это верно.
Эээто веееpнооо!

Судья в окончательность осердился, попам допеть не дал, книгой хлопнул, печатью пристукнул.

— Коли это верно, то в чужи места не суйтесь, на чужо добро не зарьтесь.

Хотели попы судью обругать, да штрафа побоялись.

В реке порядок навел

Хорошо в утрешну пору потянуться — косточки вытягиваются, силушка прибавляется.

Ногами на повети уперся, а сам потянулся в реку посмотреть, как там жизнь идет. В водяной прохладности большой беспорядок оказался. Щуки зубасты, горласты, мелку рыбу из конца в конец гоняют, жрут, глотают, настоящи водянны полицейски. И други большии рыбы за той же мелкотой охотятся. Я руки раскинул и первым делом давай щук из воды к себе на двор выкидывать, крупну семгу, стерлядь тоже не обходил — ловил.

Зубастых рыб стало меньше — мелкой рыбе легче. Рыбья мелкота обрадела, круг меня кружатся, своим рыбьим круженьем благодаренье мне высказывают, а сами веселятся без опаски, плавают, ныряют без оглядки.

Решил я им, мелким рыбешкам, еще удовольствие сделать. С берега малиновых кустов достал и в воду на речно дно посадил. Эта обнова рыбешкам очень по нраву пришлась: кусты — защита от рыб-прожор, ягоды — для еды. С той поры мелка рыба нам в промысле помогать стала: выйдем на рыбну ловлю, мелка рыба показыват, куда сети закидывать.

Уловы у нас пошли больши, прибыльны. Полицейски чиновники до чужого добра падки и тут не прозевали. Приехали к нам рыбу ловить. Невода закинули во всю реку, рыбу ловят в нашей воде, а мы слова не скажи.

Рыбья мелкота собралась скопом да артельным делом всякого хламу со дна в невода натолкала: и камней, и пней, и кокор, и грязи, и всего, что только лишне было. Дно вычистили, будто для праздничной гулянки.

Полицейски чиновники с большой натугой невода выволокли, хлам на берег вытряхнули, а не отступились, вдругорядь сети закинули.

Мелка рыбешка артелью сильна. И другой раз изготовились: малиновы кусты за листики, за тонки веточки ухватила и ко дну пригнула, а колючи ветки кверху выгнула.

Потащили полицейски чиновники невода по дну, об колючки зацепили, прирвали и вытащили одно клочье от неводов. И сделали постановление:

— В этом пустопорожнем месте дозволяется ловить рыбу беспрепятственно.

Нам то и надо. В прочищенной воде рыбы много пошло. Малиновы кусты на речном дне совсем другомя заросли, нежели на сухой земле, их рыбы обиходили.

Придет время ягодам поспевать — со дна реки, от кустов малиновых, наливка заподымается. Черпать надо поутру. Солнышко чуть осветит, чуть теплом дыхнет, над рекой туман везде спокойной, а в одном месте забурлит самоварным кипятком, тут вот и малинова наливка.

Мы к тому месту подъезжали с чанами, с бочками,

малинову наливку черпали порочками (порочками называли деревянну шайку на длинной палке).

Малиновой наливки полны бочки сорокаведерны к каждому дому прикатывали, в ушатах добавочный запас делали. На малиновой наливке кисели варили, квасы разводили, малиновой наливкой малых ребят поили, а для себя хмелю подбавляли, и делалась настояща виннопитейна настойка. С похмелья голова не болела и ум не отшибало.

Вот кака хорошесть да ладность от согласного житья. Я мелким рыбешкам жизнь устроил, а они мне втрое. Купаться пойду, нырну — ни на какой камешок не стукнусь: все мешающи камни в полицейских неводах вытащены.

Ветер про запас

Утром потянулся да вверх.

У нас в Уйме тишь светлая, безветрая. Потянулся я до второго неба. А там ветряна гулянка, ветряны перегонки. Один ветер, молодой подросток, засвистал, бросился на меня — напугать хотел. Я руки раскинул, потянулся, охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок и за пазуху сунул. Сунул бы в карман, да я в исподнем был, а на исподнем белье карманов не ношу.

Други шалуны-ветры на меня по два, по три налетали, силились с ног свалить. А как меня свалишь, коли ноги у меня на повети уперты!

Я молодых ветров, игровых, ласковых, много на-

ловил. Ветры в лёте, в размахе широки, а возьмешь, сожмешь и места занимают всего ничего.

Стары ветры заворчали, заворочались, выручать молодых двинулись и на меня бросились один за одним. Я и их за пазуху склал. Староста ветряной громом раскатился, в меня штормом ударился, я и шторм смял. Наловил всяких разных ветров: суховейных, мокропогодных, супротивных, попутных. Ветрами полну пазуху набил. Ветры согрелись, разговаривать стали, которы поуркивают, которы посвистывают. Я ворот у рубахи застегнул, пояс подтянул, ветрам велел тихо сидеть, громко не сказываться. Сказал, что без дела никоторого не оставлю.

На поветь воротился, на мне рубаха раздулась, кабы не домоткана была рубаха — лопнула бы. Жона оглядела меня, кругом обошла, руками развела.

— Чем ты ек разъелся, поперек шире стал?

— Не разъелся, а ветром подбился.

Вытряс я ветры в холодну баню, на замок запер. Двери палкой припер. Это мой ветряной запас. Коли в море засобираюсь сам али соседи, я к судну свой ветер прилаживаю. Со своим ветром, всегда попутным, мы ходили скорее всяких пароходов. В тиху погоду ветер к мельничным размахам привязывали, ветром белье сушили, ветром улицу чистили и к другим разным домашностям приспособляли. У нас ветер малых ребят в люльках качал, про это и в песне поют:

В няньки я тебе взяла
Ветер...

Прибежал поп Сиволдай, чуть выговариват:

— Чем ты, Малина, дела устраиваш, без расходу имешь много доходу? Дакосе мне этого самого приспособления.

У меня в руках был ветряной обрывок, собирался горницу пахать *, я этот обрывок сунул Сиволдаю: на!

Попа ветром подхватило, на мачту для флюгарки закинуло. Сиволдай за конец мачты зацепился. Ветер озорник попался, не отстает, широку одёжу поповску раздул и кружит. Сиволдай что-то трещит по-флюгарошному. Долго поп над деревней крутился, нас потешал. Только с той поры поповска трескотня на нас действо потеряла, мимо нас на ветер пошла, мы слушать разучились.

На Уйме кругом света

Взбрело на ум моей бабе свет поглядеть. Ежедённо мне твердит:

— Хочу круг света объехать, поглядеть на людско житье и где что есть. Да так объехать, чтобы здешних новостей не терять, чтобы тамошно видеть и про здешно знать: кто на ком женится, кто взамуж идет, у кого нова обнова, у кого пироги пекут.

— Баба, ты в город поедешь на полдён — уемских новостей короба накопятся. Тебе все на особицу надобно — и тут, и там все знать! Как так?

— Как сказала — так и делай, от своего не отступлюсь!

Я уж давно вызнал: с моей бабой спорить — время терять и себе одно расстройство.

Запасны ветры сгодились для дела. Я под Уймой в разных местах дыр навертел, а в дыры ветров натол-

* Пахать — подметать.

кал. Уйму ветрами вызняло высоко над землей. С высоты широко видать.

Бабы забегали, заспорили, которой конец деревни носовой, которой кормовой? Остроносы кричат, что ихно место на носу, с носу перьвы все высмотрят, все всем расскажут.

Попадья со сватьей Перепилихой в большой спор взялись, чуть не в драку, которой кормой быть? Попадья кричит:

— Толще меня нет никого, про меня все говорят: шире масленицы. Я и буду кормой.

Перепилиха не отступат, на весь свет кричит:

— Я шире всех, на мне больше всех насдевано, я буду кормой, я буду Уймой в лёте править!

Чтобы баб угомонить, я под Уйму с разных концов сунул встречны ветры, они и держат деревню на одном месте. У деревни все стороны носовы-кормовы, со всех сторон вперед гляди.

Уйма на ветрах на месте стала, а земля свой ход не меняет, под нами поворачивается.

У нас и день прошел чередом, и вечер череду отвел, и ночь стемнела, и обутрело, и опять до полдён. А земля под нами полным ходом идет, и на ней всю пору полдень, все время обеденно. Земля нам разны места показыват в полной ясности.

На ветряном держанье, с места не сходя, мы весь свет объехали. Сверху высмотрели житье-бытье в других краях. Сверху больше видать, все понятне.

Много стран оглядели, а жить нигде не захотели, окромя нашей Уймы. Наш край и в старо время был самолучшим, кабы не полицейски да чиновники.

С попом Сиволдаем и с урядником особо дело вышло, они ничем-ничего не видали, ничего не понимающими и остались.

Сиволдай услыхал, что Уйма колыхнулась и шевелиться стала, от страху в колодец скочил и сел на дно. Воду из колодца на тот час всю на огороды вычерпали, как по заказу. На месте колодца осталось одно ничего, мокреть, а на ней поп Сиволдай сидит, от страху дыхнуть боится. Урядник, по примеру поповскому, в другой колодец полез, а колодец-то с водой, урядник чуть-чуть не утоп, шашкой в стенку колодца воткнулся, ногами растопырился — этак много верст продержался. Дно у колодца было тонко — поддонна земля осталась на земле. Где-то над чужой стороной вода из колодца выпала, урядника выплеснуло.

Завсегда говорят: не плачь — потерял, не радуйся — нашел. Мы потеряли и не оглянулись, куда урядника выкинуло, от нас далеко — нам и любо. Обрадовались ли там, где нашли, об этом до нас вести не дошли.

Мы сутки не спали, во все глаза глядели.

Видели разны всяки страны, видели разных народов. У всякого народа своя жизнь. Над всякими народами свой царь либо король сидит и над народом всячески изгиляется, измывается. Народным хлебом цари-короли объедаются, на народну силу опираются да той же силой народной народ гнетут. А чтобы народ в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными и сильными почитал, цари-короли полицейских откармливают и на народ науськивают. Разномастных попов развели, попы звоном-гомоном ум отбивают.

Тетка Бутеня пойло свиньям месила и не стерпела, в одного царя злого, обжористого шваркнула всем корытом и с пойлом.

Корыто вдребезги и царь вдребезги.

Сбежались царьски прихвостни и разобрать не могут, которо царь, которо свинска еда?

Други бабы не отстатчицы, с приговором: хорошо дело не опоздано, давай в королей, царей палить всем худым, даже таким, о чем громким словом и не говорят.

Учены собирали все, что в царей попадало, обсуждали и в книгах писали: из чего небо состоит. Нашу Уйму за небесну твердь посчитали. Те учены про небо всяки небылицы плели и настоящей сути небесной не знали.

С той самой поры наша деревня понимающей стала. И начальство полицейско-поповско нам нипочем и ни к чему стало. От урядника мы избавились, а Сиволдая просто без внимания оставили.

Перепилиха с попадьей во все стороны глядели, а ругаться не переставали. Попадья ругалась-крутилась, подолом пыль подняла — силилась всем попадьям чужестранным пыль в нос пустить.

Перепилиха заверещала голосом пронзительным, на целом месте дыру вертеть стала. Мелкой крошеной землей да крупной руганью отборной царских, королевских чиновников здорово обсыпала.

Пропилила Перепилиха сквозну дыру. Обе ругательницы зараз и провалились.

Это было в остатнем пути земельного поворота. Перепилиха и попадья упали в наш город, в рынок, в саму середину.

В рынке тесно стало. Торговки удивились, устрашились, замолчали. До этого разу молчаливых торговок мы не видывали. Котора торговка язык остановить не могла, та руками рот захлопнула.

Прилетны гостьи, как говорильны газеты, наперебой стали рассказывать, каки страны, каких народов видели, где во что одеваются, где что едят. А потом, как путевы, заговорили про царей-королей. Рассказали,

какой они силой держатся. И коли народ за ум возьмется, вместях соединится, то всех живодеров-обдиралов в один счет с себя стряхнет.

Рыночны полицейски от страху присели, у них ноги отнялись, языки прилипли. Их испугала темна длинна туча. Из тучи мелкий песок падал, прошла она в сторону Уймы.

В то само время, как суткам быть, Уйма на свое место села. И потеперя на том месте. Можете проверить — сходить поглядеть.

Мы полдничать сели, к тому череду поспели.

По дороге пыль поднялась, больше да шире, больше да ближе. До деревни пыль докатилась — это чиновники из городу после перепилихиной да попадьевой трескотни прибежали, бумагами машут, печатями стращают, требуют штраф, налог, а и сами не знают, за что про что.

Мы уж понимали, что чиновники только мундиром да пуговицами страшны. Мы всей деревней на них гаркнули. Чиновники подобрали мундиришки, бумагами прикрылись, печатями припечатались, мигом улепетнули.

В городу губернатору докладывали:

— Деревня Уйма сбунтовалась! Ни за что ни про что денег платить не хочет, на нас, чиновников, непочтительно гаркнула, кабы мы не припечатались — из нас дух бы вылетел! Ваше губернаторство, можете проверить — от Уймы до городу наши следы остались.

Губернатор свежих чиновников собрал, полицейских согнал, к нам в коляске припылил. Из коляски не вылезат, за кучера-полицейского держится, сам трепещется и петухом кричит:

— Бунтовщики, деньги несите, налоги двойны платите, деньги соберу, арестовывать начну!

Вытащил я штормовой ветрище. Мужики помогли раздернуть. Раздернули да дернули! Ветер штормовой так рванул губернатора с коляской, с чиновниками, с полицейскими — как их и век не бывало!

Опосля того начальство научилось около нас на цыпочках ходить, тихо говорить.

Да мы ихны тихи подходы хорошо знали.

Штормовы ветры у нас на готове были — и пригодились.

Письмо мордобитно

Вот я о словах писаных рассуждаю. Напишут их, они и сидят на бумаге, будто неживы. Кто как прочитат. Один промычит, другой проорет, а как написано, громко али шепотом, и не знают.

Я парнем пошел из дому работу искать. Жил в Архангельском городе, в немецкой слободе, у заводчика одного на побегушках.

Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Заводчику деньги платить — нож острый. Заводчик заставил меня разов десять ходить, свои заработаны клянчить. Всего меня измотал заводчик и напоследок тако сказал:

— Молод ты за работу деньги получать, у меня и больши мужики получают половину заработка и то не на всяк раз.

Я заводчику письмо написал.

Сижу в каморке и пишу. Слово напишу да руками придержу, чтобы на бумаге обсиделось одним концом. Которо слово не успею прихватить, то с бумаги палкой летит. Я только увертываюсь. Горячи слова завсегда торопыги.

Из соседней горницы уж кричали:

— Малина, не колоти так по стенам, у нас все валится и штукатурка с потолка падат.

А я размахался, ругаюсь, пишу, руками накрепко слова прихватываю — один конец на бумагу леплю, а другой — для действия. Ну, написал. Склал в конверт мордобитно письмо, на почту снес.

Вот и принесли мое письмо к заводчику. Я из-за двери посматриваю.

Заводчик только что отобедал, сел в теплу мебель — креслой прозывается. В такой мебели хорошо сидеть, да выставать из нее трудно.

Ладно. Вот заводчик угнездился, опрокинул себя на спинку, икнул во все удовольствие и письмо развернул. Стал читать. Како слово глазом поднажмет, то слово скочит с бумаги одним концом и заводчику по носу, по уху, а то и по зубам! Заводчик из теплой мебели выбраться не может, письмо читат, от боли, от злости орет. А письмо не бросат читать. Слова — всяко в свой черед — хлещут!

За все мои трудовы я ублаготворил заводчика до очуменности.

Губернатор приехал. Губернатор в карты проигрался и приехал за взяткой.

Заводчику и с места сдвинуть себя нет силы, так его мое письмо отколотило. Заводчик кое-как обсказал, что во како письмо получил непочтительно, и кажет мое письмо.

Губернатор напыжился, для важного вида ноги растопырил, глазищами в письмо уперся — читат.

Слово прочитат, а слово губернатору по носу!

Ох, рассвирепел губернатор!

А все читат, а слова все бьют и все по губернаторскому носу.

К концу письма нос губернаторский пухнуть стал и распух шире морды. Губернатор ничего не видит, окромя потолку. Стал голову нагибать, нагибал-нагибал, да и стал на четвереньки. Ни дать ни взять — наш Трезорка.

Под губернатора два стула подставили. На один губернатор коленками стал, на другой руками уперся и еще схоже с Трезоркой стал, только у Трезорки личность умне.

Губернатор из-под носу урчит:

— Водки давайте!

Голос, как из-за печки. Принесли водки, а носом рот закрыло. Губернатор через трубочку водки напился и шумит из-под носу:

— Расстрелять, сослать, арестовать, под суд отдать!

Орет приказы без череду.

Взятку губернатор не позабыл — взял. В коляску на четвереньках угромоздился, его половиками прикрыли, чтобы народ не видал, насмех не поднял.

Заводчик губернатора выпроводил, а сам в хохот-в покаточку, любо, что попало не одному ему.

Письму ход дали.

Вот тут я в полном удовольствии был!

Дело в суд. Разбирать стали. Я сидел посторонним народом любопытствующим. Судья главный — старикашка был, стал читать письмо — ему и двух слов хватило. Письмо другому судье отсунул:

— Читай, я уж сыт.

Второй судья пяток слов выдержал и безо всякого разговору третьему судье кинул. У третьего судьи

зубы болели, пестрым платком завязаны, над головой концы торчат. Стал третий судья читать, его по больным зубам хлестким словом щелконуло. Зубы болеть перестали, он и заговорил скоро-скоро, забарабанил:

— Оправдать, оправдать! На водку дать, на чай дать, на калачи дать! И еще награду дать!

Я ведь чуть-чуть не крикнул:

— Мне, мне! Это я писал!

Одначе догадался смолчать. Суд писанье мое читат. За старо, за ново получат, а с кого взыскать, кого за письмо судить — не знат, до подписи не дочитались. Судейских много набежало и всем попало — кто сколько выдержал слов. До конца ни один не дочитал.

Дали письмо читать сторожу, а он неграмотный — темный человек, не битым и остался.

Письмо в Питер послали всяким петербургским начальникам читать. Этим меня очень уважили. Ведь мое мордобитно письмо не то, что простым чинушам — самим министерам на рассуждение представили. И по их министеровским личностям отхлестало оно за весь рабочий народ!

Чиновники хорошему делу ходу не давали. Подумай сам, како важно изобретение прихлопнули!

А я еще придумал. Написал большу бумагу, больше столешницы. Сверху простыми буквами вывел:

«Читать только господам...»

Дальше выворотны слова пошли.

Утресь раным-рано, до чиновничьего ходу на службу, я бумагу повесил у присутственных мест, стал к уголку, будто делом занят, и дожидаюсь.

Вот время пришло чиновникам идти. Пошли чиновники, видят на бумаге больши буквы:

«Читать только господам».

Это значит, их зовут читать.

Подойдут, глаза в бумагу вперят и читать начнут, а с бумаги ка-ак двинет разительным словом! А много ли чиновникам надобно было? С ног валятся, на службу раком ползут, охают, ахают!

А которы тоже додумались: саблишки вытащили и машут!

Да коли не вырубить топором писанного пером, то уж саблишкой куды тут размахивать!

Позвали пожарну команду и водой смыли мое писанье и мою подпись. Так и не вызнали, кто писал, кто словом чиновников приколотил.

Потом говорили, что в Питере до подписи тоже не дочитали и письмо мое за городом всенародно расстреляли.

Уйма в город на свадьбу пошла

Вот моя старуха сердится за мои рассказы, корит — зачем выдумываю.

А ежели выдумка — правда? Да моя-то выдумка, коли на то пошло, дак верне жониной правды.

К примеру хошь: стоит вот дом, в котором живу, в котором сичас сижу.

По-ённому, по-жониному, дом на четвереньках стоит — на четырех углах. А по-моему, — это уже выдумка. Мой дом ковды как выстанет и все по-разному.

В утрешну рань, коли взглядывать мельком, дом-то

после ночи, после сна при солнышке весь расправится, вздынется да станет всяки штуки выделывать: и так и сяк повернется, а сам довольнехонек, окошками светится, улыбается.

Коли в дом глазами вперишься, то он стоять будет, как истукан, не шевельнется, только крыша на солнце зарумянится.

Глядеть нужно вполглаза, как бы ненароком.

Да что дом! Баня у меня и вся-то никудышна, скособочилась, как старуха, да как у старухи-табашницы под носом от табаку грязно — у бани весь перед от дыму закоптел.

Вот и было единово эко дело: глянул я на баню вполглаза, а баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком тряхнула, сперва поприсела, потом подскочила и двинулась, и пошла!

Я рот разинул от экой небывалости, в баню глазами уставился, — баня хошь бы што: банным полком скрипнула да мимо меня ходом.

Гляжу — за баней овин вприпрыжку без оглядки бежит, баню догонят.

Ну, тут и меня надо. Скочил на овин и поехал!

А за мной и дом со свай сдвинулся, охнул, поветью, как подолом, махнул, поразмялся на месте и за мной.

По дороге как гулянка кака невиданна. Оно, может быть, и не первый раз дело эко, да я-то впервой увидал.

Дома степенно идут, не качаются, для форсу крыши набекрень, светлыми окошками улыбаются, повети распустили, как наши бабы — сарафанны подолы на гулянке. Которы дома крашены да у которых крыши железны — те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, вперегонки.

— Эй, вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете?

Дома дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали:

— В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу взамуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей Уймой и идем.

В городу нас дожидались. Невеста — соборна колокольня — вся в пыли, как в кисейном платье, голова золочена — блестит кокошником.

Мучной лабаз — сват — в удовольствии от невестиного наряду:

— Ах, сколь разнарядно! И пыль-то стародавня. Ежели эту пыль да в нос пустишь — всяк зачихат.

Это слово сватово на издевку похоже: невеста — перестарок, не перву сотню стоит да на постройки заглядыватся.

Сам сват — мучной лабаз — подскочил, пыль пустил тучей.

Городски гости расфуфырены, каменны дома с флигелями пришли, носы кверху задрали. Важны гости расчихались, мы в ту пору их, городских, порастолкали, наперед выстали и как раз в пору.

Пришел жоних — пожарна каланча, весь обшоркан. Щикатурка обвалилась, покраска слиняла, флагами обвесился, грехи поприпрятал, на верху пожарный ходит, как перо на шляпе.

Пришли и гости жониховы — фонарны столбы, непогашенныма лампами коптят, думают блеском-светом удивить. Да куды там фонариному свету супротив бела дня, а фонарям сухопарым супротив нашей дородности.

Тут тако вышло, что свадьба чуть не расстроилась ведь.

Большой колокол проспал: дело свадебно, он все дни пил да раскачивался, — глаза не вовсе открыл, а так вполпросыпа похмельным голосом рявкнул:

— По-чем треска?

— По-чем треска?

Малы колокола ночь не спали, — тоже гуляли всю ночь, — цену трески не вызнали и наобум затараторили:

— Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!

— Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!

На рынке у Никольской церкви колоколишки — робята-озорники — цену трески знали, они и рванули:

— Врешь, врешь — полторы!

— Врешь, врешь — полторы!

Большой колокол языком болтнул, о край размахнулся:

— Пусть молчат!

— Не кричат!

— Их убрать!

— Их убрать!

Хорошо еще други соборны колокола остроглазы были, наши приносы-подарки давно высмотрели и завыпевали:

— К нам! К нам!

— С пивом к нам!

— К нам! К нам!

— С брагой к нам!

— К нам! К нам!

— С водкой к нам!

— К нам! К нам!

— С чаркой к нам!

— К нам! К нам!

Невеста — соборна колокольня — ограду, как по-

дол, за собой потащила. Жоних — пожарна каланча — фонарями обставился да кой-кому из гостей фонари наставил. И пошли жоних и невеста круг собору.

Что тут началось, повелось! Кто «Во лузях» поет, кто «Ах, вы, сени, мои сени». Колокола пляс вызванивают. Все поют вперегонки и безудержу.

Время пришло полному дню быть, городскому народу жить пора.

А дома-то все пьяным-пьяны, от круженья на месте свои места позабыли и — кто на какой улице стоит — не знают. Тут пошла кутерьма, улицы с задворками переплелись!

Жители из домов вышли, кто по делам, кто по бездельям, и не знают, как идтить. Тудою, сюдою али етойдую?

Мы, уемски, домой весело шли. По дороге, кто вдоль, кто поперек, останавливались, дух переводили да отдыхали.

В ту пору ни конному, ни пешему пути не было.

Я на овине выехал, на овине и в Уйму приехал. Дом мой уж на месте стоит. Баня в свое гнездо за огородом ткнулась — спит пьяным спаньем, окошки прикрыла, как глаза зажмурила. Я в избу заглянул, узнать — как жона, заприметила ли, что в городу с домом была?

А жона-то моя, пока в дому мимо лавок в красном ряду кружила, — себе обнов накупила, в новы обновы вырядилась, перед зеркалом поворачиватся, на себя любуется. И я засмотрелся, залюбовался и говорю:

— Сколь хороша ты, жонушка, как из орешка ядрышко!

Жона мне в ответ сказала:

— Вот этому твоему сказу, муженек, я верю!

Сахарна редька

Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать — редька больно сахарна выросла в то лето. Уж мы и принялись ее ись.

Ели редьку кусками,
редьку ломтями,
редьку с солью,
редьку голью,
редьку с квасом,
редьку с маслом,
редьку мочену,
редьку сушену,
редьку с хлебом,
редьку с кашей,
редьку с блинами,
редьку терту,
редьку маком,
редьку так!
Из редьки кисель варили,
с редькой чай пили.

Вот приехала к нам городска кума Рукавичка, она привередлива была, важничала: чаю не пила, только кофей, и первы восемнадцать чашек без сахару! А как редьку попробовала, дак и первы восемнадцать, и вторы восемнадцать, и дальше — все с редькой.

Я не оговариваю, пускай ее пьет в полну сытость, этим хозяев славит.

А я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели и так заболели, что свету не взвидел!

По людскому совету на стену лез, вызнялся до второго этажа, в горнице по полу катался. Не помогло.

Побежал к железной дороге на станцию. Поезд

отходить собирался. Я за второй вагон с конца веревку привязал, а другой конец прицепил к зубу больному. Хотел привязаться к последнему вагону, да там кондухтор стоял.

Поезд все свистки проделал и пошел. И я пошел.

Поезд шибче, я — бегом. Поезд полным ходом. Я упал, за землю ухватился.

И знашь что?

Два вагона оторвало!

«Ох, — думаю, — оштрафуют, да еще засудят». В старо-то время нашему брату хошь прав, хошь неправ — плати.

Я разбежался, в вагоны толконулся да так поддал, что вагоны догонили-таки поезд и у той самой станции, где им отцепляться надобно.

Покеда бегал, вагоны толкал, зубна боль у меня из ума выпала, зубы болеть перестали.

Домой воротился, а кума Рукавичка с жоной все еще кофей с редькой пьют.

Держал на уме спросить: «Кольку чашку, кумушка, пьешь да куды в тебя лезет?» А язык в другу сторону оборотился, я и выговорил:

— Я от конпании не отстатчик, наливай-ко, жона, и мне.

Кислы шти

Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями — это квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой. Скоро и званья не останется от этого званья.

В нашей Уйме кислы шти были первеющи и такой крепости, что пробки, как пули, выскакивали из бутылок.

Я вот охотник и на белку с кислыми штями завсегда хожу. Прислаблю пробку, белку высмотрю и палю. И шкурка не рвана, очень ладно выходит.

Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу — волки обступили. Глазищами сверлят, зубищами щелкают по-страшному.

А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.

Ну, я пробки пооослабил да кислыми штями в волков — да по мордам, да по глазам!

Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. Вот они закружились, визгом взялись, всяко соображенье потеряли.

Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город. На рынке продал живьем для зверинца.

А один волк в кустах остался, о снег да лапами глаза прочистил, нашел бутылку кислых штей — это я обронил. Хватил волк бутылку зубами, а пробка вырвалась да в волка! Кислы шти в волка!

И так его зарядило, и так волком выпалило из лесу, что его в город бросило!

А тут на углу Буяновой у трахтира у «Золотого якоря» — такой большой трактир был — истуканствовал городовой полицейской, он пасть открыл — орал на проходящих.

Волк со всего маху городовому в пасть!

Летел волк вперед хвостом. Так ведь и застрял в пасти. Да оттуда и лает на проходящих жителев, за карманы хватат, всяко добро отымат. Городовой чужо добро подбират, в будку к себе сваливат.

Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на жителей.



Сколько делов всяких у нас [redacted] этими кислыми штями было, что [redacted] не пересказать.

Да вот хоша бы [redacted] птицы.

День был светлый, теплый, сидел я около дома, с соседом хорошой разговор говорил, собрался соседа кислыми штями угостить. Кислы шти посогрелись, пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты.

Вороны не проворонили, налетели кислы шти пить.

Гляжу — ястреб норовит каку ни на есть ворону сцапать.

«Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе ворон изобижать. Ворона — она птица обстоятельна, около дому приборку делат».

Я в пробку гвоздь всадил да [redacted] ястреба. Ну, известно, наповал.

Еще что. А вот орел налетел. Высоко стал над деревней и высматриват. И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь загнала — три коровы — и доить стала. На повети и две телки были.

Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь, [redacted] вызнял, и понес, с коровами, [redacted] телками и с бабой моей.

[redacted] хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и стрелил в орла.

Гвоздем орла-то проткнуло!

Орел [redacted] остатнем лете вернул-таки поветь и с коровами, и [redacted] телками, и с бабой. На те же сваи угодил, малость скособочил.

Думашь, вру? Пойдем, покажу, сам увидишь, что поветь у меня [redacted] одну сторону кривовата.



А [redacted] чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.

Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал стращать, запугивать: сейчас пойду неполадки найду, протокол составлю, штраф платить заставлю!

Давай ему того, и другого, и штей кислых бочонок. Жонки бочонок притащили, порастрясли, обручи пооcлабили, [redacted] тарантас под чиновника и сунули.

Чиновнишко на бочонок плюхнулся, напыжился — придумыват, что бы еще стребовать.

Кислы шти согрелись, бочка разорвалась, как пушка выпалила!

Чиновника выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.

Кислы шти пеной взялись, пол-Уймы пеной закрыло. Хорошо что половину — друга пол-Уймы нас откопала. Пену кислоштейну лопатами на реку бросали.

По реке что твой ледоход. На пять дён всяко пароходно движенье остановилось.

А рыба пеной этой наелась [redacted] така жирна стала, что нырять силы не было, так поверху воды [redacted] плавала.

Мы рыбу голыма руками ловили.

А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком ходить стали. Мы птиц голыми руками имали.

А звери столько птиц сожрали, что ожирели и бегать занемогли. Мы и их голыма руками ловили.

И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и вовсе нет.

И были бы мы первеющими богатеями, да мы-то ловили, имали голыма руками, а чиновники нас грабили в перчатках.

Из-за блохи

В наших местах болота больши, топки, а ягодны. За болотами ягод больше того, и грибов там! Кабы дорога проезжа была — возами возили бы.

Одна болотина верст на пятьдесят будет. По болотине досточки настелены концом на конец, досточка на досточку. На эти досточки ступать надо с опаской, а я, чтобы других опередить да по ту сторону болота первому быть, безо всякой бережности скочил на перву досточку.

Как доска-то выгалила! Да не одна, а все пятьдесят верст вызнялись стойком над болотиной-трясиной.

Что тут делать?

Тонуть в болоте нет охоты, полез вверх, избоченился на манер крюка и иду.

Вылез наверх. Вот просторно! И видать ясно, не в пример ясне, чем внизу на земле.

Смотрю — мой дом стоит, как на ладошке видать. А вниз пятьдесят верст, да по земле пять.

Да, дом стоит. На крыльце кот сидит дремлет, у кота на носу блоха.

До чего явственно все видно!

Сидит блоха и левой лапой в носу ковырят, а правой бок почесыват. Меня зло взяло, я блохе пальцем погрозил, чтобы сон коту не сбивала. А блоха подмигнула да ухмыльнулась, дескать, достань. Вот не знал, что блохи подмигивать и ухмыляться умеют.

Тут кот чихнул.

Блоха стукнулась теменем об крыльцо, чувствий лишилась. Наскочили блохи, больну унесли.

А пока я охал да руками махал, доски-то раскачались да шибко порато *.

«Ахти, — думаю, из-за блохи в болоте топнуть обидно». А уцепиться не за что.

Мимо туча шла и близко над головой, близко, а рукой не достать.

Схватил веревку — у меня завсегда веревка про запас — петлю сделал да на тучу накинул. Притянул к себе. На тучу уселся и поехал. Мягко сидеть, хорошо!

Туча до деревни дошла, над деревней пошла.

Мне слезать пора. Ехал мимо бани, а у самой бани черемша росла. Свободным концом веревки за черемшу зацепил. Подтянулся. Тучу на веревке держу. Один край тучи в котел смял на горячу воду, другой край — в кадку для холодной воды, окачиваться, а остатну тучу отпустил с благодарением за доставку к дому.

Туча хорошо обхожденье понимат. Далеко не пошла, над моим огородом раскинулась и пала теплым дождичком.

---

* Порато — очень.

Угольно железо

Запонадобилось моей бабе уголье и чтобы не покупно, а своежжёно. Я было попытал словом оттолкнуться.

— Не робята у нас, хватит с нас, робята будут — сами добудут.

Баба взъершилась. На всяки лады, на всяки манеры меня изругала.

— Семеро на лавке, пять на печи, ему все еще мало!

Я от шума, от жониной ругани подальше. Из избы выбрался, сел, подумал о работе и разом устал. Отдохнул, про работу вспомнил — опять устал. Так до полден от несделанной работы отдыхал.

Время обеденно, жона меня кличет:

— Старик, уголье нажег?

— Нажгу ужо!

За подходящим материалом надо ■ лес идти, а мне неохота: я осиннику наломал — тут под рукой рос — кучу наклал, зажег. Горит, чернет, а не краснет. Како тако дело? Водой плеснул — созвенело, в руки взял — железо. Я из осинника всяких штук хозяйственных настругал: самоварну трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугунки, и ведра, лопату, ухваты, — ну, всяку полезность обжег, жоне принес, думал — будет сыта. А жона обновки угольно-железны заперебирала, языком залопотала:

— Поди скоре, старик, нажги, принеси щипцы, грабли да вилы, железной поднос, на крышу узорный обнос, сковородки, листы да гвоздей не забудь, новы скобы к избяным и к банным дверям, да флюгарку с трещоткой, обручи на ушат, рукомойник, лоханку, ■

пуговицы к сарафану, пряжи к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди, жги, поворачивайся!

Я свернулся поскоре, пока баба не надумала чего несуразного. Все по бабьему говоренью нажег, к избе приволок. Все очень железно и очень угольно.

Кабы тещина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов наелся бы. И так всего, о чем подумал, захотел, что придумал мост через реку построить и к теще в гости идти.

Обжег большущу осину со столб ростом. Столб этот ■ берег вбил, начало мосту сделал. Сел около, соображаю: какой меры, какого вида штуки для моста обжигать?

Анжинер царской налетел на меня, криком пыль поднял.

— По какому полному праву зачал мост строить, ковды я, анжинер казенный царской, плана еще не составил и денег на постройку не пропил? Строить перестать, столб убрать!

Я ему в ответ:

— Не туго запряжено, можно ■ вобратно повернуть, а столб дергать мне неохота.

Столб-то хошь и из осины, да железной, его не срубишь, нижний конец ■ земле корни пустил, его не выдернешь. Бились-бились, отступились.

Весной столб Уйму спас.

Вот как дело было. Вода заподымалась, берег заподмывало. Гляжу — дело опасно. Уйму смоет ■ на друго место унесет. На новом необсиженном месте ловко ли сидеть будет? Я Уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил накрепко.

Наша Уйма вся была ■ одном месте, дома кругом стояли. Из окошек в окошки все было видать, у кого

что делают, кто что стряпат, варит. Бывало, кричат через улицу: «Марья, щи кипят, оттащи от огня». Друга кричит: «Дарья, тащи пироги, смотри пригорят!» Согласно жили. Все у всех на виду.

Водой Уйму подмыло и ■ места сдернуло!

Веревка деревню удержала, по берегу вытянула. Так и теперь стоит. Не веришь — сходи проверь. Пока ■ одного конца до другого дойдешь, не раз ись захошь.

Самоварова семья

Чайны чашки ручки ■ бок изогнули, на блюдечках подскакивают, донышками побрякивают ■ поют:

Папа скоро закипит,
Папа скоро закипит!

Чайник, старший из самоваровых робят, пошел по столу чаем засыпаться и широким боком нос отбил молочнику. Молочник заплакал, молоко пролилось.

Самовар закипел, пар пустил, песней забурлил, конфорку надел, ручки растопырил и на стол стал.

Чайник к папе подбежал, чай заварил, на конфорку скочил, крышкой прихлопыват, папе подпеват.

Пошел чайник чаи разливать, а сахарница на пути подвернулась, чайнику рыло отбила.

Когда молочнику нос отбили, его в сторону отодвинули и забыли, будто ничего не случилось. Чайнику рыло разбили — все хлопотами расплескались. Чайнику рыло сделали новое — серебряное, по пути ■ молочнику сделали серебряный нос.

Чай отпили. Самовар кланяться стал, задни ножки подымат, конфоркой киват, этим показыват:

В другой раз гостите,
Чай пить приходите,
А сегодня не обессудьте,
Всё!

Чайны чашки вымылись, вытерлись, ■ буфете на блюдечках спать повалились.

Чайник вытрясся, вымылся и тоже в буфет спать пошел. А молочник на холод вынесли, ему сказали, что для него вредно спать ■ буфете — скиснет.

Молочник хотел было в кофейну семью уйти, да вспомнил, что кофейник высоко нос задират и чашки кофейны маленьки и разговор кофейный заводят на час, а чайный разговор заводят с утра и до вечера. Остался ■ своей семье.

Раз тетка Бутеня ■ гости пришла. Чай уж допивали, самовар поклоны отвешивал, задни ножки подымал, конфоркой кланялся, за конпанию благодарил.

Тетку Бутеню зовут за стол садиться, чаю напиться, горячим согреться.

Бутеня чай пьет помногу, пьет подолгу. Самовару хлопотно: надо доливаться, надо догреваться и не одиножды. Тетка к столу не подходит ■ ■ обидой говорит:

— Благодарю за приглашенье, благодарю за угощенье. Из пустого самовара не напьешься, у холодного самовара не согреешься.

Самовар со стола скочил, водой долился, подогрелся.

Самовар закипел, на стол сел, недолго пел, опустел и опять долился. А тут новый гость поп Сиволдай. Самовар опять долился, подогрелся, а не хочет для попа песни петь, не хочет громко кипеть. Жару

много в самоваре, вода кипит, вода клокочет, разорвать его хочет.

Самовар зажмурился, пару не показыват, голосу не подает.

Сиволдаю налили чаю в большу чашку: из малой Сиволдай ни пить, ни выпивать не любит. Сиволдай думат — самовар холодной, взял чашку, рот открыл во всю ширину и чохнул [redacted] себя всю чашку разом. Так ожегся, что ни кричать, ни мычать не может, рот не закрыват, руками размахиват [redacted] бегом из дому.

Потом узнали: Сиволдай двадцать верст пробежался, отдышался, в других гостях простоквашей [redacted] шаньгами вылечился. Попы живучи были.

На радостях, что от попа избавились, чайны чашки на блюдечках приплясывали, чайник по столу кругом пошел, чай разливал, молочник [redacted] чайником в паре молоко подливал.

Самовар [redacted] тот раз долго кипел, новы песни пел.

Пляшет самовар, пляшет печка

Согрела моя баба самовар, на стол вызняла, а сама пошла коров доить. Сижу, чаю дожидаюсь. Страсть хочу чаю. Самовар руки [redacted] боки, пар пустил до потолку [redacted] насвистыват, песню поет:

Топор, рукавицы,
Рукавицы, топор!

Я глядел-глядел, слушал-слушал да подхватил самовар за ручки, и пошли мы [redacted] пляс по избе.

Самовар на цыпочках, самовар на цыпочках. А я всей ногой, а я всей ногой!

Печка [redacted] углу напыжилась, сначала на нас и не глядела, да не вытерпела, присела, попыхтела, да и двинулась. Да кругом по избе павой, павой! Мы с самоваром за ней парой, парой. И в присядку! Самовар на цыпочках, а я всей ногой, [redacted] я всей ногой!

Печка пляшет, песню поет:

Я в лесу дрова рубила —
Рукавицы позабыла,
Рукавицы позабыла.

Самовар паром пофыркиват и звонко подсвистыват:

Березова лучина,
Растопка моя!

Мне бы молча плясать, да как утерпишь, ковды печка поет, заслонкой гремит, вьюшками побрякиват. Самовар поет, отдушиной свистит. Я не стерпел да тоже запел:

Эх, рожь не молочена,
Жона не колочена!

Только поспел эти слова выговорить, слышу — в сенях жона подойником гремит и по-своему орет:

Ох, лен не мочен,
Да муж не колочен!

Едва я успел в застолье заскочить, на лавку шлепнуться. Самовар на стол скочил. Печке что! Печка [redacted] углу присела, заслонкой прикрылась, посторонком тепло пущат, как так и надо, как и вся тут!

Каково нам с самоваром?

[redacted] едва отдыхиваюсь, у самовара от присядки конфорка набок, кран разворотился, из крана течет, по полу течет, на столе мокрехонько!

Вот жона взялась [redacted] ругань! На что я [redacted] этому приобык, [redacted] то в удивлены был: откуда берет?

Отвернулся я к стене, а под лавкой поблескивают штоф, полуштоф да четвертна. И все с водкой. Поблескивают, мне подмигивают, в конпанию зовут...

Я и ране их слышал, как с самоваром вприсядку плясал. Слышал, что кто-то припеват да призванивают нашему плясу. Это, значит, скляницы под лавкой в свой черед веселились. Я их туды от жоны спрятал и позабыл.

Ну, я к ним, я к ним и одну бутыль за пазуху, другу за другу, а третью в охапку — и на поветь.

В избе жона ругается-заливается! Наругалась, себя в большу сердитость загнала, к кровати подскочила, головой на подушку шмякнулась, носом в подушку сунулась, а ноги от злости на полу позабыла. И вот носом ругательски высвистыват — спит, а ногами по полу что силы есть стучит. К утру от экова спанья из сил баба выбилась пуще, чем от работы. Подумай сам — чем больше баба спит, тем больше ногами об пол стучит!

Я на повети водку выпил, голову на подушку уложил, всего себя на сене раскинул, ноги в сторону, руки наотмашь. Сплю — от сна отталкиваюсь!

Сила моей песни плясовой

Сплю это я веселым сном да во сне носом песню высвистываю.

Утресь глаза отворить не успел — слышу топот плясовой, поветь ходуном ходит. Я уж весь проснулся, а носом плясову тяну-выпеваю. Глянул глазами.

На повети пляс! Это под мой песенный храп вся живность завертелась.

Куры кружатся, петух вертится, телка скоком носится, корова ногами перетоптыват, свинья хвостиком помахиват, сама кубарем и впереверты. Розка-собачонка порядок ведет, показыват, кому за кем по роду-племени в круге идти. Розка показыват, ковды вприсядку, ковды вприскок.

Выглянул во двор, а по двору Карька пляшет, гривой трясет, хвост вверх подбрасыват, ногами семенит с переборами. От Карькиной пляски весь двор подскакиват, дом ходуном пошел!

Моя баба сердито спала ту ночь, вся измаялась. Сердитым срывом меня в город срядила, огородно добро на рынок везти.

Стала баба на телегу груз грузить, сама себя не понимат, а сердитой бабе не перечь!

Картошки натаскала возов пять, да брюквы, да репы, да свеклы, да хрену, да редьки, да моркови, да капусты, да гороху стрючками — и все возами.

Я стою, гляжу, умом прикидываю — на сколько это подвод? Хватит ли со всей Уймы коней, ежели всю эту кладь разом везти?

Карька глянул на меня, глазом моргнул — это знак подал, что не я потащу, а он.

Я на телегу скочил, песню запел развеселу. Карька ногой топнул, другой топнул, и заприплясывал на все четыре. Телега заподпрыгивала, кладь заподскакивала да вверх, да вверх, да вся и вызнялась над телегой!

Брюква с картошкой, с репой, со свеклой вызнялась стволами, редька с хреном, с морковью — ветками, гороховы стрючки — листиками, а капустны кочаны — как цветы на большом дереве!

Вся кладь над телегой, пусту телегу катить натуга не нужна. Карька пляшет, телега скачет, кладь над телегой идет.

Увидали городски жители, что я небывалошны дерева на рынок везу и бросились за моим возом. Услыхали, что я пою, мою песню подхватили да всем городом запели. Ох, и громко! Ох, и звонко!

До кого хошь коснись, всем антересна эка небывальщина.

За Карькой, за мной, за телегой моей, за возом моим до самого рынку народ шел густой толпой, и все песню со мной пели.

На рынке я Карьку остановил. Карька стал, телега стала, кладь моя по корзинам, по кучам склалась и больше чем на полрынка!

Живым манером все распродал. Деньги в карман положил. Тут чиновник один подвернулся, ко мне ■ карман, как ■ себе домой, как ■ свой, и заехал. А в кармане у меня завсегда кот сидит, ковды я в город еду. Кот цапнул чиновника за руку. Чиновник сначала взвыл, а потом выфрунтился, под козырек взял и извинительным голосом гаркнул:

— Прошу прощенья, как есть я не знал, что ■ вашем кармане сберегательна касса с секретным замком!

Я ответного слова сказать не успел. Поднялся переполох. Я думал, како дело большо. А всего-то полицмейстер на паре прикатил. Он услыхал пенье многоголосо, ковды я без мала со всем городом пел.

—Како тако происшествие? Почему песни поют без моего на то дозволенья? — это полицмейстер кричит.

Полицейский подскочил, рапортует:

— Как есть этого мужичонка лошаденка привез-



т. Писахов

ла всякого припасу разом на полрынка, жители увидали и от удивленья, безо всякого позволенья проделали общо пенье!

Полицмейстер ко мне и все криком:

— Может ли твоя лошадь меня везти? Меня пара коней через силу возит, как есть я чин с весом!

Отвечаю:

— Карька увезет, ваше полицейство, только прикажите городовым полицейским на телегу стать да для параду шашки наголо взять кверху.

Полицмейстер просвистал, городовы полицейски сбежались, на телегу установились тесно, шашки вверх подняли. Полицмейстер посередке сел вольготно.

Я песню веселу завел. Карька плясом-топотом взвился. Телегу заподкидывало, полицейски заподскакивали, теснотой держатся. Полицмейстера выкинуло над телегой, на шашки посадило. Его [redacted] дальше подкидыват и обратно на шашки усаживат. Шашки хотя и тупы, [redacted] штаны полицмейстера [redacted] клочье прирвали!

Народ хохочет, народу любо, [redacted] ладоши хлопат, мне подпеват, тем Карьке плясать помогат. Всенародно полицмейстера ублажают. Полицмейстеру неохота показать, что попался мужику, он подскакиват с улыбочкой, сам голы места шинелишкой прикрыват. Скоро и шинелишка [redacted] клочья.

Полицмейстер около своего дому изловчился, скочил в сторону, к народу передом повернулся, чтобы драного места не видели, и так задом в калитку, задом на крыльцо, задом [redacted] дом ускочил.

Полицейски все подскакивают, да ура кричат! Я их, очумелых, поперек улицы [redacted] пять рядов поставил, чтобы никто мне не мешал домой ехать.

Купцы со всего рынка ко мне пристали.

— Подвези нас на этой лошади, мы тебе по полтине с рыла дадим!

Разным жителям тоже загорелось ехать на моей телеге. Прибежали охотники, их двадцать пять, рыболовы — их двадцать пять, дачников—двадцать пять, гуляющих—двадцать пять, ягодников — двадцать пять, грибников — двадцать пять, провожающих — двадцать пять и купцов — двадцать пять уж на телеге сидят, и всех до Уймы.

Чем телега хуже транвая?

И на телеге можно друг на дружку сажать.

Песню свою завел, поехал. Телегу заподбрасывало, гостей заподкидывало, да ряд над рядом, ряд над рядом.

На телеге только я один. Карьке легко, мне весело.

В Уйму приехал, гостей по домам самоварничать пустил. Жоне деньги за огородно добро высыпал, обсказал, что кот сберег от чиновника.

Моя баба моего кота молоком напоила, мне самовар поставила и светлым словом заговорила.

Как купчиха постничала

Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что одно умиленье!

Вот как [redacted] масленицу сядет купчиха с утра блины ись. И ест, и ест блины — [redacted] со сметаной, с икрой,

с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой.

И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест.

А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала.

Утром глаза открыла, чай пить захотела, чаю-то нельзя, потому пост.

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постился, тот и рыбного не ел. А купчиха постилась изо всех сил: она чаю не пила, сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела сахар особенный — постной, вроде конфет.

Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек да постным сахаром пять, с малиновым соком пять чашек да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, нет, с соком. И заедала черными сухариками.

Пока кипяточек пила, завтрак поспел. Съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких, рыжичков, тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым.

Взамен чаю стала сбитень пить паточный.

Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед постной-постной! На перво жиденька овсянка с луком, грибовница крупой, лукова похлебка.

На второ грузди жарены, брюква печена, солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других каш разных с вареньем и три киселя: кисель квасной, кисель гороховый, кисель малиновый. Заела все вареной черникой с изюмом.

От маковников отказалась:

— Нет-нет, маковников ись не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой во рту не было!

После обеда постница кипяточку клюквой и с яблочной пастилой попила.

А время идет идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой, пастилой тут и паужна.

Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!

Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами квасу заела.

Ежели неблагочестивому человеку, то такого поста не выдержать — лопнет.

А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек сухими ягодками.

Трудится — постничат!

Вот и ужну подали.

Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек, лещика фунтов на девять.

Легла купчиха спать, глянула угол, а там лещ. Глянула в другой, там лещ!

Глянула к двери — и там лещ! Из-под кровати лещи, кругом лещи. И хвостами помахивают.

Со страху купчиха закричала.

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе.

Пришел доктор — просмотрел, прослушал и сказал:

— Первый раз вижу, что до белой горячки объелась.

Дело понятно, доктора образованны и в благочестивых делах ничего не понимают,

Река у́же стала

■старо время наша река шире была. Против городу верст на полтораста с прибавком. Просторно было ■ для лодок, карбасов, для купанья и для пароходов места хватало.

Оно все было ладно, да заречным жонкам далеко было с молоком в город ездить.

Задумали жонки тот берег к этому пододвинуть, ■ городу ближе.

— Что ты думашь? Пододвинули!

Мужики отговорить не могли. Дело известно, что бабы захотят, то ■ сделают.

Вот заречны жонки собрались с вечера. В потемках руками ■ берег уперлись, ногами от земли отталкиваются, кряхтят, шепотом дубинушку запели:

Давай, жонки, приналяжем,
Мужикам мы не уважим.
Эх, дубинушка, сама пойдет!

Берег-то сшевелился ■ заподвигался. Бабы не курят, на перекурошну сижанку время не тратят. Берег-то ■ самому городу дотолкали бы, да согласья бабьего ненадолго хватило.

Перво дело, каждой жонке охота свою деревню ближе ■ городу поставить, как тут не толконуть соседку, котора свой бок вперед прет? Начали переругиваться по-тихому, а, как руганью подхлестнулись, ■ голосу прибавили.

Лисестровска тетка Задира задом крутонула, да в заостровску тетку Расшиву стуконула. Обе разом во весь голос крик подняли. Другим-то как отстать?

И лисестровски, глуховски, заостровски, ладински,

кегостровски, глинниковски, и ближнодеревенски, и дальнодеревенски ■ ругань вступились. Друг дружку стельными коровами обозвали. Ругань руганью, да и толкотня ■ ход пошла.

Ведь у всех жонок под одежой полагушки * с молоком, простокваша в крынках двуручными корзинами, а под фартуками туеса с пареной брюквой. Заречны жонки все до одной с готовым товаром собрались. Думали берег дотолкнуть, да в рынок кажда хотела первой скочить и торговать.

Жонки руганью да потасовкой занялись. Над рекой от ругани визг переполошной да от полагушек брякоток столь громкой, что спящи ■ городе проснулись. А приезжи сдивовались.

— Совсем особенны и музыка и пенье. Слыхать, что поют ото всего сердца и со всем усердием!

Приезжи особенны записны гранофоны наставили и визжачу ругань ■ полагушечный стукоток на запись взяли.

Как ободнело, осветило, городски жители долго глаза протирали, долго глазам не верили, говорили:

— Гляньте-ко, что оно тако? Река у́же стала! Завсегда в полтораста верст была, а осталось всего три, и мало где пять. Кто дозволил тот берег чуть не под нос городу поставить?

Кегостровски бабы самы крикливы, неуемны и выперлись ближе всех.

Пока жонки толкались да дрались, все полагушки опрокинули, молоко пролили. Молоко над рекой рекой течет. Простокваша со сметаной в крынках у берега плещется. В тот день городски жители молока нахлебались задарма ■ кого сколько влезло. Водовозы в

* Полагушка — деревянная посуда для молока.

бочках молоко по домам развозили заместо воды. Молоко рекой над рекой — и в море, все море взбелело. С той поры ■ по сю пору наше море Белым ■ прозывается.

Начальство хотело тот берег обратно поставить да приспособиться не смогло. Руками ■ берег упереться можно, ■ ногами немного оттолкнешься. Меня не спросили как. Сам я называться не стал.

Тещина деревня ближе стала, мне и ладно.

Собака Розка

Моя собака Розка со мной на охоту ходила-ходила, да и научилась сама одна охотиться, особливо за зайцами.

Раз Розка зайца гнала. Заяц из лесу да деревней, да ■ реке, а тут щука привелась, на берег головищу выставила, пасть разинула. Заяц от Розкиной гонки не досмотрел, что щукина пасть растворена, думал — в како хороше место спрячется, в пасть щуке ■ скочил. Розка за зайцем ■ щукино пузо ■ давай гонять зайца по щукиному нутру. Догнала-таки!

Розка у щуки бок прогрызла, выбежала, зайца мне принесла.

Со щукой у нас много хлопот было. Мой дом, вишь, задне всех стоит. Щуку мы всей семьей, всей родней домой добывали.

Тащили, кряхтели, пыхтели. Притащили. Голова во дворе, хвост ■ реке. Вот кака была рыбина!

Мы три зимы щуку ели. Я в городу пять бочек соленой щуки продал.

Вот пирог на столе, думашь, с треской? Нет, это щука Розкина лова, только малость лишку просолилась, да это ничего, поешь, обсолонись, лучше попьешь. Самовар у меня ведерный, два раза дольем — оба досыта попьем!

Волчья шуба

Охотилась собачонка Розка на зайцев. Утресь поела — и на охоту. До полдён бегала ■ лес да домой, ■ лес да домой, — зайцев таскала.

Пообедала Розка, отдохнула — тако старинно заведенье после обеда отдохнуть. И снова в лес за зайцами.

Волки заприметили Розку — и за ней. Хитра собачонка, быдто ■ не пужлива, быдто играт, кружит около одного места: тут капканы были поставлены на волков. Розка кружит и через капканы шмыгат. Волки вертелись-вертелись за Розкой и попали ■ капканы.

Хороши волчьи шкуры были, большущи таки, что я из них три шубы справил: себе, жоне и бабке. Волки-то Розкиной ловли, я и Розку не обидел. У своей шубы сзади пониже пояса карман сделал для Розки. Розка тепло любит, ■ кармане спит ■ совсем неприметна ■ избу караулит: шуба в сенях у двери висит ■ никому чужому проходу нет от Розки. А как я в гости засобираюсь, Розка в карман на свое место скочит. По гостям ходить для Розки — перво дело.

В одних гостях увидал поп Сиволдай мою шубу, обзарился и говорит:

— Эка шуба широка, эка тепла! Волчья шуба нарядне енотовой. Эку шубу мне носить больше пристало!

Надел Сиволдай мою шубу, а Розка зубами хватила попа сзаду. Поп шубу скинул и говорит:

— Больно горяча шуба, меня [illegible] пот бросило!

Руки урядника к чужому сами тянутся.

— Коли шуба жарка — значит враз по мне.

Надел урядник шубу, по избе начальством пошел, голову важно задрал. Розка свое дело знат. Рванула урядника и раз, [illegible] два с двух сторон. Не выдержал урядник, весь вид важный потерял, сначала присел, потом подскочил, едва из шубы вылез. Отдувается.

— Здорово греет шуба, много жару дает, да одно неладно — в носке тяжела!

Хозяйка в застолье стала звать. Мы сели. Поп Сиволдай присел было, да подскочил — Розка знала, куда зубы запустить.

Сиволдай стал на коленки у стола.

— Я буду на коленях молиться за вас, пьяниц, и чтобы вы не упились, лишне вино [illegible] себя вылью.

Урядник тоже попробовал присесть и тоже подскочил, за больно место ухватился.

— Ах, и я по примеру попа Сиволдая стану на коленки.

Стоят на коленках перед водкой поп да урядник [illegible] пьют и заедают.

Народу набилось в избу полнехонько, всем любопытно поглядеть на попа и урядника в эком виде.

Какой-то проходящий украл мою шубу, подхватил [illegible] охапку, по деревне быдто с дельной ношей прошел. За деревней проходящий шубу надел. Розка его рванула зубами. Проходящий взвыл не своим голосом. На всю Уйму отдалось.

Мы сполошились: что тако стряслось? Из застолья выбежали и видим: за деревней человек удират, за зад руками держится.

А по деревне к нам шуба бежит, рукавами размахиват, воротником во все стороны качат, собак пугат.

Урядник на меня наступат, пирог доедат, торопится, пирогом давится, через силу выговариват:

— Кака така сила в твоей шубе? Меня искусала и сама по деревне бегат?

Поп недоеденный пирог в карман упрятал.

— Это колдовство! Дайте сюда святой воды. Я шубу изничтожу.

Дали воды из рукомойника. Сиволдай брызнул на шубу раз да и два. На Розку водой попал. Розка водяного брызганья не терпит, с шубой вместях подскочила, попа за пузо рванула.

— Ох! — заверещал поп. За живот руками хватился [illegible] за угол дома спрятался, оттуда визжит, быдто его режут.

Шуба — [illegible] уряднику. Это Розка все своим умом выделыват, мое дело сторонне, урядник ноги заподкидывал да бегом из нашей деревни. И долго к нам не показывался.

Городски полицейски знали мою шубу: коли в волчьей шубе иду, не грабили.

Поросенок из пирога убежал

Тетка Торопыга попа Сиволдая [illegible] гости ждала. И вот заторопилась, по избе закрутилась, все дела зараз делат и никуды не поспеват!

Хватила поросенка, водой сполоснула да в пирог загнула. Поросенок приник, глазки зажмурил, хвостиком не вертит. Торопыга второпях позабыла поросенка выпотрошить.

А поп зван ись пирог с поросенком.

Тетка Торопыга щуку живу на латку положила, на шесток сунула. Взялась за пирог с поросенком, ■ печку посадила. А под руку друго печеньё, вареньё, сунулось. Торопыга пирог из печки выхватила, ■ печку всяко друго понаставила. Пирог недопеченный да щуку сыру на стол швырнула. У пирога корки чуть-чуть прихватило, поросенок в пироге рыло в тесто уткнул ■ жив отсиделся.

Торопыга яйца перепеченны по столу раскидала. Сама вьется, ног не слышит, рук не видит, вся кипит!

Поросенок из пирога рыло выставил и хрюкат щуке:

— Щука, нам уходить надо, а то поп Сиволдай придет, нас с тобой съест, не посмотрит, что мы не печены, не варены.

— Как уйдем-то?

— За пирог, в коем я сижу, зубами уцепись, от стола хвостом отмахнись, по печеным яйцам ■ двери прокатись, там ушат с водой стоит, ■ ушат и ладь попасть.

Щука так и сделала. За пирог зубами уцепилась, хвостом отмахнулась, по печеным яйцам прокатилась да к двери.

Пирог о порог шлепнулся, корки разошлись, поросенок коротенько визгнул, из пирога выскочил да на улицу, да к речке и у куста притих.

А щука в ушат с водой угодила, на само дно легла ■ ждет.

Торопыга пусты корки пироговы ■ печку сунула —

допекла. Гости ■ избу. Поп Сиволдай еще ■ застолье не успел сесть — пирог ■ обе руки ухватил, тем краем, из которого поросенок убежал, повернул ко рту и возгласил:

— Во благовремении да с поросенком... — и потянул в себя жар из пирога.

Жаром поповско нутро обожгло. ■ нутре у попа заурчало, поп с перепугу едва слово выдохнул:

— Кума, я поросенка проглотил! Слышь — урчит.

Крутонулся Сиволдай из избы да ■ речке, упал у куста и вопит:

— Облейте меня холодной водой, у меня ■ животе горячий поросенок!

Торопыга заместо того, чтобы воды из речки черпнуть, притащила ушат с водой ■ чохнула на попа.

Щука хвостом вильнула, ■ речку нырнула.

Поросенок это увидел, из-за куста выскочил и с визгом ускакал в сторону.

Поп закричал:

— Не ловите его, он съеден был!

После екого угощенья поп не то что не сыт, а даже отощал весь.

Оглобля расцвела

Разны дожди живут. И редкой стороной пройдет. Да мы не всякого ■ зазывам. Ежели сердитый, который по постройкам барабанит и крыши пробиват, того мы в город спроваживам. Сердитой дождище чиновников, полицейских прополощет, прохлещет — после него простому народу дышать легче.

В бывалошно-то время мы сами-то мало что могли сделать. На все, что хорошо, запреты были, а коли сделашь, что для всех пользительно, за то штрафом били.

Дожди — народ вольный, ходили, что нужно выращивали, что лишно — споласкивали, водой прочь угоняли.

Дожди порывисты у чиновников, даже у самых больших, у самых толстомордых, фуражки с кокардами срывали. Приказы со стен смывали. Нам дожди подмогой бывали ■ ■ поле, и на огороде. ■ деревне дождям радовались, в городу от дождя прятались.

Был у меня друг-приятель совсем особенный — дождь урожайной. Только вот не упреждал о себе, прибегал, когда ему ловче, дожди и спят ■ обедают не ■ наше время, у них и недели други, не как у нас.

Прибежит урожайной дождик, раскинется бисером, частой говóрей.

Тут только не зевай, время не теряй, что хошь посади — зарастет.

Вот раз урожайной дождик зазвенел, брызгами засветился. Я ладился стару оглоблю на дрова изрубить, взял да ■ ткнул ■ землю оглоблю-то.

Оглобля супротивиться не стала, буди того и дожидала — разом зазеленела ■ в рост пошла.

Я торопился, по двору крутился, чтобы деревянну хозяйственность в рост пустить. Что на глаза да под руки попало—все на оглоблю растущу, цветущу накидывал: ведра, шайки, полагушки, грабли, лопаты, палки для ухватов, наметельники, для белья катки ■ вальки, на крынки деревянны покрышки. Попалось веретено — подкинул ■ его.

Над моим двором зеленой разговор пошел.

Новоурожайна хозяйственность первоочередно по

спела и веселыми частушками ■ кучи складывалась, и как по заказанному счету, всем хозяйкам, на всю Уйму по штуке и про запас по десятку. Никому и не завидно, никому не обидно — всем ■ обиход.

Наше богатство нашему согласью не было помешней. А на оглобленном дереве новы оглобли расти стали. Сначала палками, а подтянули себя и ■ кучи новы оглобли улеглись.

С дерева оглобли не все пали, которы занозисты, те цвели да размахивались, ■ разны стороны себя метали и с присвистом. В нашу сторону от оглобель песня неслась веселая с припевом:

Деревенских мы уважим,
Путь чиновникам покажем,
Сопроводим их
Мимо наших ворот ■ песнями.

У оглобель дела с песнями не расходятся. Как к нашей деревне почнет подбираться чиновник по крестьянским делам али полицейский со злым умыслом, так оглобли свистнут в ихну сторону ■ вдоль спины опрягут, по шее огреют и мимо дорогу покажут. От злыдней мы страху натерпелись, ■ им острастка нужна была.

Чиновники тоже в умно рассуждение пустились:

— Палка, — говорят, — о двух концах.

Про палку оно верно, да когда палка ■ руках. А оглобли-то сами собой управляли, и обоими концами били, кого надо. Битые-то, бывало, стороной обходили всяко дерево у деревни. У нас ■ поговорка была:

— Пуганы чиновники куста боятся.

Сани выросли

Со мной да с санями при урожайном дождике еще тако дело было.

Ладил сани, как заведено, летом, в зиме готовился. Слышу — ровно стеклянны колокольчики звенят. Оглянулся, а дождик падат, как пляшет, на лужицах пузырями играт.

Я сани впереверт и в землю ткнул. И места не узнал!

Кругом зазеленело, круг меня выкинулся лесок в много места занял, да вырос не на месте.

Мне мешкать некогда. Стал я лес вырубать. Как лесину срублю, она сама распадется на полозья, на копылки, на поперечины, на продольны доски. Ветки крутятся, сани сами связываются, в ряды выравниваются.

Скорым часом весь лесок вырубил, разогнулся, оглянулся. Сани свежим деревом блестят, даже ослепительно, запах смолистый, душистый — нюхай да силы набирайся, очень пользительный дух.

Сосчитал сани, на всю Уйму, по саням на двор, насчитал в запасных сколько надо.

Урядник, чиновник по крестьянским делам, поп Сиволдай на сани обзарились и решили утащить хотя бы одни на троих. Им чужо добро руки не кололо.

Наших уемских опасались, знали, что у нас к ним терпенья мало.

Изловчились-таки, сани украли. А сани-то еще не устоялись, себя внутрях дорабатывали. Взяли сани этих воров в переработку. Их и полозьями гнули и вицами крутили.

Поп, чиновник, урядник от саней отцепиться не

могут. Так тройкой себя и в город пригнали и по городу, по улицам вскачь. Поповы волосы оченно на гриву похожи. Урядник и чиновник медными пуговицами гремят, как шаркунками, сабля за ними хвостом летит.

Со стороны глядеть — похоже на тройку, только ног не тот счет и насчет тулова сумленье было.

Тройка из сил выбилась, их признали.

Бросились ко мне протокол писать, меня штрафовать.

А я причем? Сани общи, деревенски. Мы брать неволили.

Эта тройка нас прокатывала, да на нас прокатывалась. На этот раз себя прокатили — на себя пусть и жалятся!

Как Уйма выстроилась

Был я в лесу в саму ранну рань, день чуть зачинался. Дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.

Это друг-приятель мой, дождь урожайный, хорошего утра проспать не хотел.

Дождик урожайный, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топорищем в землю.

И-и, как выхвостнулся топор!

Топорище тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топорище во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.

Почал топор дерёва рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать, время понапрасну не терят.

Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новосрублены рядами выставают. Избы с резными крылечками, с поветями. У каждой избы для колодца сруб, и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули: приучаются тепло беречь.

Я под избяны углы кругляши подсунул, избы легонько толконул и с места сдвинул.

Домов-обнов длинный черед покатился по деревне.

Деревня наша до той поры мала была — домишков ряд коротенькой — и звалась не по-теперешнему.

Как новы дома заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.

С того часу деревню нашу и стали звать Уймой.

Только вот мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли коститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах, где на первый зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются.

В новой деревне из конца в конец не то, что не докричишься, а в день и до конца не дойдешь. Мы уж хотели железну дорогу по деревне прокладывать — в гости ездить (транвая в те поры еще не знали).

Для железной дороги у нас железа мало было.

Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинны пружины в землю концом воткнули. За верхний конец уцепимся, пружину пригнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись и лети, куда себя нацелил: до середины деревни али до самого конца.

Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемски для гостьбы на подъем легки.

Уйма выстроилась, выставилась. Окнами на реку и на заречье любуется. Стоит красуется, сама себя показыват.

А топор работает без устали, у меня так приучен был. Новы овины поставил, мельницу выстроил. Я ему, топору-то, новый заказ дал: через речки мосты починить, по болотам дощаты переходы перекинуть.

Да как завсегда в старо время, хорошему делу чиновники мешали.

Проезжали лесом полицейской с чиновником, проезжали в том месте, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся да промахнулся.

Ох, в каку ярость вошли и полицейской и чиновник! Лесинку-топорище сломали, на куски приломали и спохватились!

— Ахти да ахти! Мы поторопились, не досмотрели, с чего началось, от кого повелось, не доглядели, кого штрафовать и сколько взять.

Много жалели о промахе своем чиновник и полицейской.

Топор тоже жалел, что промахнулся, к ихней увертливости не приладился.

Так чиновник и полицейской до самого последнего своего времени и остались неотесанными.

Яблоней цвел

Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести.

Раз вот я работал на огороде, это было перед утром. Солнышко чуть спорыдало.

Высоко в небе что-то запело переливчато. Прислушался. Песня звонче птичьей. Песня ближе, громче, а это дождик урожайный мне здравствуй кричит.

Я дождику во встречу руки раскинул ■ свое слово сказал:

— Любимый дружок, сегодня я никаку деревянность ■ рост пускать не буду, а сам расти хочу.

Дождик перестал по сторонам разливаться, а весь на меня, и не то что брызгал аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, буди ■ обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутрях, а сверху ■ прохладной свежести себя чувствую.

Стал я на огороде с краю да у дорожного краю босыми ногами в мягку землю. Чую, ■ рост пошел! Ноги корнями, руки ветвями. Вверх не очень подаюсь, что за охота — с колокольней ростом гоняться.

Стою, силу набираю да придумываю, чем расти, чем цвести? Ежели малиной, дак этого от моего имени по всей округе много.

Придумал стать яблоней. Задумано — сделано. На мне ветки кружевятся, листики развертываются. Я плечами повел ■ зацвел. Цветом яблонным.

■ подбоченился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся. От спелых яблоков яблонный дух разнесся, вся деревня зарадовалась.

Моя жона перва увидала яблоню на огороде — это меня-то! За цветущей нарядностью меня не приметила. Рот растворила, крик распустила:

— ■ где это Малина запропастился, как его надо, так его нету! У нас тут заместо репы да гороху на огороде яблоня стоит! Да как на это начальство поглядит?

Моя жона словами кричит сердито, а личиком улыбается. И я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул и вырядил жону ■ невиданну обнову.

Платье из зеленых листиков, оподолье цветом густо усыпано, а по оплечью спелы яблоки румянятся. Моя баба приосанилась, свои телеса ■ стройность привела. На месте повернулась павой, по деревне поплыла лебедью.

Вся деревня просто ахнула! Парни гармони растянули, песню грянули:

Во деревне нашей
Цветик-яблоня цветет,
Цветик-яблоня
По улице идет!

Круг моей жоны хоровод сплели. Жона ■ полном удовольствии.

Цветами дорогу устилат, яблоками всех одариват. Ноженькой притопнула и звонким голосом запела:

Уж вы жоночки-подруженьки,
Сватьи, кумушки,
Уж вы девушки-голубушки,
Время даром не ведите,
К моему огороду вы подите,
Там на огородном краю,
У дорожного краю
Растет-цветет ново дерево,
Ново дерево — нова яблоня.
Станьте перед яблоней, улыбаючись.
Оденет вас яблоня ■ цветом и яблоками!

Тако званье два раза сказывать не надо. Ко мне девки, бабы идут, улыбаются да так хорошо, что теплый день еще больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как — все полной мерой в рост пошло. Дерева вызнялись, кусты расширились, травки встрепенулись, цветочками запестрели. Вся деревня садом стала. Дома как на именинах сидят.

Девки, жонки на меня дивуются да поахивают. Коли что людям на пользу — мне того не жалко. Я всех девок и баб-молодух одел яблонями. За ними старухи: котора выступками кожаными ширкат, котора шлепанцами матерчатыми шлепат, котора палкой выстукиват. А тоже стары кости расправили, на меня глядя улыбаются. И от старух весело, коли старухи веселы.

Я и старух обрядил и цветами, и яблоками.

Старухи помолодели. Старики увидали — только крякнули, бороды расправили, волосы пригладили, себя одернули, козырем пошли за старухами.

Наша Уйма вся ■ зеленях, вся ■ цветах, ■ по улице — фруктовый хоровод.

Яблочно благорастворенье во все стороны понеслось ■ до городу дошло.

Чиновники носами повели — завынюхивали:

— Приятственно пахнет, а не жареным, не пареным, не разобрать, много ли доходу можно взять.

К нам ■ Уйму саранчой налетели. Высмотрели, вынюхали. И на чиновничьем собрании порешили:

— В деревне воздух приятне, жить легче, на том месте большо согласье, а посему всему обсказанному — перенести город ■ деревню, а деревню перебросить на городско место.

Ведь так и сделали бы! Чиновникам чем диче, тем ловче. Остановка вышла из-за купцов: им тяжело было свои туши с места подымать.

У чиновников сила ■ чинах да в печатях: припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов сила была ■ капиталах ихних, в местах больших с лавками, лабазами, с домами каменными. Купцы пузами ■ прилавки уперлись, из утроб своих, как в трубы, затрубили:

— Не хотим с места шевелить себя. Мы деревню и отсюда хорошо обирам. Мы отступного дать не отступимся, а что касательно хорошего духу в деревне, то коли его ■ город нельзя перевезти — надо извести.

Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они и во всех деревнях грабить доставали.

Чиновницы, полицейщицы тоже запах яблонный услыхали:

— Ах, каки приятственны духи! Ах, надобно нам такими духами намазаться!

К нам барыни-чиновницы, полицейщицы заторопились, которы на извозчиках, которы пешком, заявились. Увидали наших девок, жонок, у всех ведь оподолье в цветах, оплечье ■ спелых яблоках. Барыни от зависти, от злости позеленели и зашипели:

— И совсем не пристало деревенским так наряжаться! Это только для нас подходяще. И где таки нарядности давают, почем продавают, с которого конца ■ очередь становиться? А мы и без очереди, по нашей образованности и по нашей важности!

А мы живем ■ саду, в ладу, у нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласье печки сами топятся, обеды сами варятся, пироги, шаньги, хлебы сами пекутся.

В ответ чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песней вывели:

У Малины в огороде
Нова яблоня цветет,
Нова яблоня цветет,
Всех одариват!

Барыни и дослушивать не стали. С толкотней, с перебранкой ко мне прибежали, зубы щерят, глаза щурят, губы ■ ниточку жмут.

На них посмотреть — отвернуться хочется.

Я ногами-корнями двинул, ветвями-руками махнул и всю крапиву Уймы собрал, весь репейник выдергал. На злыдень городских налепил. Они важностью себя встряхивают, носы вверх задирают, друг на дружку не глядят, друг от дружки отодвигаются, чтобы себя не примять, чтобы до городу в сохранности свой вид донести.

Прибежали попадьи большущими саквояжами. Сначала яблоками саквояжи туго набили, а потом передо мной стали тумбами да копнами.

Охота попадьям яблонями стать боятся: дозволено ли оно, а показано ли? Нет ли тут силы нечистой? У своих попов не спросили, не сдогадались спросить у Сиволдая, да к нему с пустыми руками не пойдешь.

От раздумчивости у поповских жен рожи стали похожи на булки недопечены, глаза изюминками, а рты разинуты печными отдушинами, из этих отдушин пар со страхом вперемежку так и вылетал.

У меня ни крапивы, ни репейника. Собрал я лопухи, собрал чертополох облепил одну за другой попадью. Попадьи искоса глянули на себя, видят — широко, значит, ладно.

В город поплыли зелеными кучами.

полицейщицы и чиновницы со всей церемонностью в город заявились. Идут, будто в расписну стеклянну посуду одеты боятся разбиться. Сердито на всех фыркают. Почему-де никто не ахат, руками не всплескиват и почему малы робята яблочков не просят?

К знакомым подходят, об ручку здороваться, а знакомы от крапивы и репейника сторону отскакивают.

По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся, себя показывают, мужей и колют и жгут. В ихних домах ругань да визготня поднялась, да для них это дело завсегдашно, лишь бы не на людях.

Приплыли в город попадьи, а были они многомясы, телом сыты — на них лопухи во всю силу выросли. Шли попадьи каждая шириной во всю улицу. К домам подошли, а ни калитку, ни ворота влезть не могут.

Хоть и конфузно было при народе раздеваться, верхни платья с себя сняли, в домы заскочили.

Попадьи отдышались и пошли по городу трезвонить!

— И вовсе нет ничего хорошего Уйме. Ихно согласное, ладное житье от глупости да от непониманья чинопочитанья. То ли дело мы: перекоримся, переругаемся — и делом заняты, и друг про дружку все вызнали! И скуки не знам.

Чиновницы заместо телефона из форточки форточку кричали — попадьям вторили.

Чиновницы с попадьями о лопухах говорили хиханьем.

А попадьи чиновниц крапивным семенем обозвали.

Это, значит, повели благородный разговор.

Теперица-то городски жители и не знают, каково раньше жилось городу. Нынче всюду и цветы, и дерева. Дух вольготный, жить легко.

Ужо, повремени малость, мы нашу Уйму яблонями обсадим, только уж всамделишными.

Зелена баня

Запонадобилась мне нова баня, — у старой зад выпал да пол провалился. За сосновым али еловым лесом ехать далеко. А тут у нас наотмашь за деревней, на сыром месте ивы росли. Я их и срубил, четыре столба сваями под углы вбил, поставил баню всю ивову. Да в свежу, нову мыться пошел. Баню жарко натопил.

Вот моюсь да окачиваюсь, а про веник позабыл.

— Охти мнеченьки, как же париться без веника!

Отворил дверь из бани, глянул, — а я высоко над деревней!

Умом раскинул и в разуменье пришел: ивовы столбы от теплой воды проросли да и выросли дерёвами и вызняли меня в поднебесну, да и вся баня зеленью взялась. Я от стен да от косяков дверных ивовых веток свежих наломал, веник связал. И так это я в полну меру напарился!

Из бани вышел, жона догадалась лесенку приставить.

А банный пар из бани тучей выпер, поостыл да дождиком теплым и пал.

Это дело я стал в уме держать.

Вот стало время жарко-прежарко, а без дождя. Хлеба да травы почали гореть.

Вижу — поп Сиволдай с конца деревни обход начинат, кадилом машет и вопит во всю глотку:

— Жертвуйте мне больше, я вам дождь вымолю!

Я забежал с другого конца деревни и тоже заорал:

— Не давайте Сиволдаю ни копейки, ни гроша! Я вам дождь через баню достану, приходите, кому париться охота!



Баню натопил самосильно. Старики да старухи у банной лесенки стабунились, дожидают моего зову в баню карабкаться. Я велел им стать чередом парами и здыматься по две пары париться.

А я парю-хвощу да пар поддаю. Старье только покрехтыват от полного удовольствия.

Как отпарю две пары, на веревке вниз спущу. Двери банны настежь отворю, пар стариковский толстой тучей выпрет. А родня стариков, что парились, подхватит тучу вилами да граблями и волокут на свое поле. Там туча поостынет и дождем теплым падет.

Столько в тот год у нас наросло, что сами были сыты и всю округу прокормили.

Оглушительно ружье

Сказывал кум Ферапонт — мы его Ферочкой звали, — сказывал про свое ружье. Ствол, мол, широченной, калибру номер четыре.

Это что четыре! У меня вот ружье, тоже своедельно — ствол калибру номер два!

Кабы еще чуть пошире, я бы в ствол спать ложился. А так в ем, в стволе ружейном калибру номер два, я сапоги сушил, провиант носил.

Опосля охоты, опосля пальбы ствол до большой горячности нагревался, и жар в ем долго держался.

В зимни морозы, в осенню стужу это было часто очень к месту и ко времени. От устали отдыхать али зверя дожидать на теплом стволе хорошо! Приляжешь и поспишь часок другой-третий, как на лежанке,

Чтобы тепло попусту не тратилось, я к стволу крышку сделал. Выпалю для тепла, крышкой захлопну и ладно.

Бывало, сплю на теплом ружье, на горячем стволе, а Розка, собачонка, около сторожем бегат. Как какой непорядок: полицейского, волка или другого какого зверя почует, ставень от ствола оттолкнет в сторону, меня холодом разбудит. Ну, я с ружьем своим от всякого оборону имею. Мое ружье не убивало, а только оглушало, тако оглушительно было.

Раз я дров нарубил, устал, на ружье на теплом стволе спать повалился.

Лесничий с полицейским заподкрадывались. Рубил-то я в казенном лесу. Розка тихомолком ставень откинула, меня холодом разбудила. Кабы малость дольше спал, меня бы сцапали и с дровами и с ружьем.

Я скочил, стряхнулся, выпалил да так хорошо оглушил лесничего с полицейским, что у них отшибло и память и всяко пониманье, а движенье осталось. Я на лесничем, на полицейском, как на заправской паре дрова из лесу вывез. Оглушенных в деревне на улице оставил, сам в лес воротился. Мне и ответ держать не надо.

С этим оглушительным ружьем я на уток охотился. В саму утрешну рань нашел озерко, на ём утки плавают, в туманной прохладительности покрякивают, меня не слышат.

Ружье-то утки видят, таку махину не всегда спрячешь. Видят утки ружье, да в своем утином соображении ствол калибру номер два и за ружье не признают. Это мне даже сквозь туман явственно понятно.

Утки оглушительно ружье за пароходну трубу сосчитали: думали труба в отпуску и прогуливат себя

по лесу. Не все ей по воде носиться, а захотела по горе походить. Утки таким манером раздумывают, по воде разводье ведут, плясом кружатся.

Туман тоньшать стал, утки в мою сторону запоглядывали. Я пальнул. Разом все утки кверху лапками перевернулись и стихли.

Надо уток достать, надо в воду залезать, а мне неохота, вода холодна. Кабы Розка, собака, была, она бы живо всех уток вытащила. Да Розка дома осталась.

Сижу, про собаку раздумываю, трубку покуриваю, про уток позабыл.

К уткам понятие и все ихны чувства воротились. Утки зашевелились, в порядок привелись, крылами замахали и вызнялись. «Вот, — думаю, — достанется мне от жоны за эко упущенье».

Утки вызнялись, тесно сбились, совещание ведут. Я опять пальнул. Уток оглушило, они на раскинутых крыльях не падают, не летят, на месте держатся.

Тут-то взять дело просто. Я веревку накинул и всю стаю к дому потащил.

Дождь набежал. Я под уток стал и иду, будто под зонтиком. Меня вода не мочит, меня дождь не берет. Дождь пробежал, солнышко припекло, я под утками иду — меня жаром не печет.

Дома утки отжились, ко двору пришлись. Для уток у меня во дворе пруд для купанья, двор да задворки для гулянья. Как замечу уткински сборы к полету-отлету, я оглушительно ружье покажу, утки хвосты прижмут, домашностью займутся. Яйца несут, утят выводят.

Вскорости у всех уемских хозяек утки развелись. Всем веселы хлопоты, всем сыто.

Поп Сиволдай выбрал время, когда собаки Розки

дома не было, пришел ко мне и замурлыкал таки речи:

— Я, Малина, не как други прочи, я не прошу у тебя ни уток, ни утят, дай ты мне ружья твоего, я сам на охоту пойду, скоре всех, больше всех разбогатею.

От попа скоро не отвяжешься — дал ему ружье.

Сиволдай с вечера на охоту пошел. Ружье ему не под силу нести, он ружье то в охапке, то волоком тащил. А к месту притащился вовремя и в пору.

На озере уток много, больше чем я словил. Поп Сиволдай ружьем поцелил и курок нажал, да ружье-то перевернулось, выпалило и оглушило.

Очень хорошо оглушило, только не уток, а Сиволдая! Попа подкинуло да на воду на спину бросило.

Поп не потоп, весь день по озеру плавал вверх животом.

Эко чудо увидали старухи-грибницы, ягодницы. Увидали и запричитали:

Охти, дело невиданно,
Дело неслыханно.
Плават поп поверху воды,
Он руками не махат,
Он ногами не болтат.

Большо диво, большо чудо!
Поп молчит.
Не поет, не читат,
У нас денег не выпрашиват.
Это сама больша удивительность!

С того дня стали озеро святым звать. Рыба в озере перевелась, утки на озеро садиться перестали. Озер у нас много. Мы на других охотимся, на других рыбу ловим.

А Сиволдай на воде отлежался, из озера выкарабкался. На охоту ходить потерял охоту.

Гуси

Моя жона картошку копала. Крупну в погреб сыпала, мелку избу таскала корм телятам. Копала — торопилась, таскала — торопилась от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку.

Время было гусиного лету. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один-по-один, один-по-один — все за вожаком дошли гуси до избы окошко один-за-одним — все за вожаком. Избу полнехоньку набили, до потолка. Которы гуси не попали, те раму носами колотились, крылами толкались и захлопнули окошки.

Дом мой по переду два жилья: изба, для понятности сказать, кухня да горница. Мы с жоной в горнице сидим, шум слышим в избе, будто самовар кипит, пиво бродит и кто-то многоголосно корится, ворчит, ругается.

Двери толконули — не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим: заскрипело, затрещало и охнуло.

Глянули окошко и видим: изба с печкой, подпечком, мелкой картошкой для телят с места сорвалась и полетела.

Это гуси крыламн замахали вызняли полдома жилого — избу.

Я из горницы выскочил, за избой вдогонку, веревку на трубу накинул, избу колу привязал. Хошь от дому и далеко, а все ближе, чем за морем. И гусей хватит на всю зиму ись.

Баба моя мечется, изводится, ногами землю стучит, руками себя по бокам колотит, языком вертит:

— Еще чего не натворишь безустальной выдумке? Како тако житье, коли печка от дому далеко? Как буду обряжаться? На ходьбу-беготню, на обрядню у меня ног не хватит!

Я бабу утихомирил коротким словом:

— Жона, гуси-то наши!

Жона остановилась столбом, а голове ейной всяки мысли да хозяйственны соображения закружились. Баба рот захлопнула. Побежала к избе как так и надо, как по протоптанному пути. Гусей разбирать стала: которых на развод, которых сейчас жарить, варить, коптить. И выторапливается, кумушкам, соседкам по всей Уйме гусей уделят. За дело взялась, устали не знат, и дело скоро ладится: которо печке печется, которо руках кипит, жарится. Моя баба бегат от горницы до избы, от избы до горницы, со стороны глядеть — веревки вьет.

Вот и еда готова. Жона склала фартук жареных гусей, горячи шаньги сверху теплом из печки прикрыла, горницу притащила, на стол сунула, тепло вытряхнула. Приловчилась — фартуке и другого всякого варенья, печенья наносила и тепла натаскала. В горнице тепло и не угарно. Тепло по дороге проветрилось, угар сторону ушел.

Моя жона удовольствии от хозяйничанья. Уемски бабы — тетки, сватьи, кумушки, соседки, жонины подруженьки — гусей жарят, варят, со своими мужиками едят, сидят — тоже довольны. У меня жилье надвое: изба от горницы на отлете, не как у всех, по-особому, — и я доволен.

Все довольны, всем довольно, только попу Сиволдаю все мало. Надобно ему все захватить себе одному.

— Это дело я могу, — кричит Сиволдай, — картошки у меня много с чужих огородов, мне старухи кучу наносили и на отбор мелкой.

Сиволдай насыпал картошки и к дверям, и к окошкам, и [redacted] избу, и в горницу, и на поветь; гуси не мешкали и по картофельным дорожкам через двери да [redacted] окошки полон дом набились.

Поп обрадел, двери затворил, окошки захлопнул. Поймал гусей. Гуси крылами замахали, поповский дом подняли. [redacted] доме-то попадья спяща была, громко храпела, проснуться не успела. Сиволдай за гусями жадно бросился. Про попадью вспомнил и заподскакивал:

— Да что это тако! Да покричите всем миром, чтобы гуси воротились, чтобы дом мне отдали и попадью вернули. Скажите гусям: я их отпущу. Вам, мужикам, гуси поверят. Кричите всем деревенским сходом.

Мы Сиволдаю проверку сделали:

— А ты, поп, гусей-то отпустишь, ежели дом [redacted] попадьей вернут тебе гуси?

— Да дурак я, что ли, чтобы столько добра мимо рук пустить? Вы только мне дом с гусями воротите!

Мы [redacted] поповски дела вмешиваться не стали. Мы-то разговоры говорим, а гуси в поповском дому летят да летят, их криком уже не остановишь. Сиволдаю и дома жалко, и попадью жалко — кого жальче, и сам не знат.

Запричитал поп, возгудел:

Последня жона у попа,
И ту гуси с домом унесли.
Унесли-то в светлой горнице
С избой да еще с поветью.
Остался я без жоны один,
Заместо дому у меня баня да овин.
А и улетела моя попадья
В теплу сторону.
Как домой она воротится
Да как начнет она бахвалиться:

«Я там-то была, то-то видела,
На гусях в дому перва ехала,
Ни с кем еще не бывало экого!»
Мне и дому жаль,
А жальче же всего,
Что побыват попадья дальше мово.
Сиаряжусь-ко я за жоной в поход.
Ты гляди, удивляйся, честной народ.

Что задумал поп, с тем скоро справился. Выбрал место видное, просторное. Сел, приманкой для гусей приладил себя. В широки полы мелку картошку насыпал кучами, [redacted] руки взял четвертну [redacted] самогоном. Под парами самогонными легче лететь будет! Тетка Бутеня на голову попу самоварну трубу поставила, не пожалела для общего веселья и сказала:

— Это от всего моего усердья!

Сидит поп Сиволдай взабольшным лётным самогонным пароходом.

Спутья недолго ждал поп. Гуси картошку увидали, Сиволдая не приметили, за картофельну кучу посчитали, погоготали и порешили взять с собой запас кормовой. Ухватились гуси за длинны поповски полы и полетели.

Поп Сиволдай на гусях летит, самогон пьет. Гуси — народ тверезый, пьяного духу не любят, особливо самогонного, гуси Сиволдая бросили.

Поп шлепнулся [redacted] болото, там чавкнуло, брызги [redacted] стороны выкинуло. Поп сидит и шелохнуться боится, кабы [redacted] болото не угрузнуть. Сидит, завыват, людей созыват:

— Людие! Тащите меня из болота, покудова я глубоко не просел. Тащите скоре, пока у вас гуси не все съедены, я вам ись помогу, [redacted] которы не початы, тех себе про запас приберу, вас от хлопот ослобожу.

Наши бабы как причет затянули:

Ты бы, поп Сиволдай,
На чужо не зарился,
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Вызволили.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Скоро вытащили.
А теперь, Сиволдай,
Ты в болото попал подходяще.
Кабы не твоя толщина, ширина,
Ты бы в болото ушел с головой.
Мы бы тогда бы
За тебя бы, попа бы,
В ответе не были.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Тут и оставили!

Вечером, близко к потемни, мужики выволокли Сиволдая на суху землю, чтобы за попа в ответе не быть.

Попадья и далеко бы, пожалуй, улетела, да во снах ись захотела. Глаза протерла, гусей увидала и ну их ловить. Разом кучу гусей ощипала, [illegible] печке жарить, варить стала.

Гуси со страху крыльями махать перестали. Дом лететь перестал, [illegible] город опустился да на ту улицу, по которой архиерея на обед везли. Архиерейски лошади вздыбились, архиерейска карета опрокинулась, архиерея из кареты вытряхнуло. Архиерей на четвереньки стал, животом [illegible] землю уперся, ему самому и не вызняться. Попы и монахи думали: так и им стать надо, стали целым стадом кверху задом и запели монастырским распевом:

Что оно еси
Прилетело [illegible] небеси?

Спереду окошки,
Сбоку крыльцо,
Сзади поветь —
Машины нигде не углядеть!

Архиерей сердито вопросил:

— Что за чудеса без нашего дозволенья? Кто [illegible] дому по небу летат, моих коней, моих прихлебателей стадо пугат?

Сиволдаиха в самолучше платье вынарядилась, на голову чепчик с бантом налепила, морду кирпичом натерла-нарумянила, с жареным гусем выскочила и тонким голоском, скорым говорком да с приседаньицем слова сыпать принялась:

— Ах, ваше архиерейство, ах, как я торопилась, ах, к тебе на поклон, как знаю я, что ты, ваше архиерейство, берешь [illegible] тестяным и печеным, ах, запасла гусей жареных, гусей вареных и живых не ощипанных полный дом. Полна и изба, и горница, и поветь — изволь сам поглядеть!

Архиерея на ноги поставили, и все стадо подняло головы.

— Ты, Сиволдаиха, забыла, что мне нельзя мясного вкушать?

— А ты, ваше архиерейство, ешь, как рыбку. Ах, и хлопочу-то я не за себя, а за попа Сиволдая, чтобы дал ты ему како ни на есть повышение да доходу прибавление.

Архиерей носом засопел [illegible] услыхал — жареным пахнет, дал согласье на Сиволдаихино прошение.

— Дозволяю твоему Сиволдаю [illegible] крестьян больше драть. От евонного доходу мне половина идет.

Попадья гусей припрятала, окошки занавесками задернула, архиерею дала одного жареного, одного вареного и пару живых. Двери замком закрыла. Сама

Сиволданха к дому привязалась, вожжами по стенам захлопала, по повети ременкой стегонула. Гуси подняли дом и понесли.

Вернулась-таки попадья в нашу деревню. Ладилась приспособиться нам на головы сесть, да мы палками отмахались, прогнали на прежни стойки, на старо место.

Робята дернули попадью за подол, попадья ногами лягнула и повернулась не ■ ту сторону, и сел поповский дом на старо место, передом ■ заднюю сторону, задом на улицу. По сю пору так стоит. Коли хошь, поди погляди.

А гусями поп с попадьей не пользовались. Нашим робятам до всего надо дознаться. Отворили окна да двери поглядеть, кака сила попадью в город носила. Гуси и улетели.

Моя отлетна изба всей Уйме на пользу была. Уемски хозяйки свои печки не топили, дров не изводили. Топили одну мою печку ■ моей отлетной избе, топили ■ очередь. Тепло охапками таскали по избам, ■ печке варили, жарили, парили, пекли, кому что надобно — всем жару хватало.

Артельный горшок наварне кипит, артельна печка жарче грет.

В артельной печке тепло тако прочно было, что ■ холодну пору мы теплом обвертывались и ходили ■ одних рубахах на удивленье проезжающим.

Попробовал я теплом-жаром торговать. Привез на рынок жару-пару. Не успел остановить Карьку — налетели полицейски, чиновники у чужого добра руки погреть.

— Что за товар, как продаваш, отмериваш, отвешиваш али считаш, да каку цену берешь?

— Вы, ваши полицейства, чиновничества, на теп-

лых местах сидите, руки у чужого тепла нагреваете. Мой товар ■ самый раз про вас. Попробуйте нашего деревенского жару.

Развернул я воз с теплом из нашей общественной согласной печки и так «огрел» полицейских, чиновников, что они долго безвредными сидели. А мы, деревенски, и городской простой народ ■ те поры отдохнули, штрафов не платили, денег накопили, обнов накупили.

Перепилиха

— Глянь-ко на улицу. Вишь, Перепилиха идет? Сама перестарок, а идет фасонисто, как таракан по горячей печи. Голос у нее такой пронзительной силы, что страсть!

И ■ чего взялось? С медведя.

Пошла это Перепилиха (товды ее другомя звали) за ягодами. Ягода брусника спела, крупна. Перепилиха торопится, ягоды собират грабилкой.

Ты грабилку-то знашь? Така деревянна, сходна с ковшом, только долговата, с узорами по краям. У Перепилихи было бабкино придано.

Ну, ладно, собират Перепилиха ягоды и слышит: что-то трещит, кто-то пыхтит.

Голову подняла, ■ перед ней медведь и тоже ягоды собират и тоже торопится, рот набиват.

Перепилиха со всего голосу взвизгнула! И столь пронзительно, что медведя наскрозь проткнула и наповал убила голосом!

Над медведем еще долго визжала, верещала, боялась, кабы не ожил.

Взяла медведя за лапу и поволокла домой. И всю дорогу голосом верещала. И от того самого места, где медведя убила, и до самой Уймы просека стала. Больши и малы дерёва и кусты порубленными пали от Перепилихиного голосу.

Дома за мужа взялась и пилила и пилила!

Зачем одну в лес пустил? Зачем в эку опасность толконул? Зачем не помог медведя волокчи?

Муж Перепилихин и рта открыть не успел.

Перепилиха его перепилила. мужике сквозна дыра засветилась.

Доктор осмотрел и сказал: кабы в сторону на вершок и сердце прошибла бы!

Жить доктор дозволил, только велел сделать деревянну пробку. Пробку сделали. Так пробкой и ходит мужик. Пробку вынет, через дырку дух пойдет сквозной и заиграт музыкой приятной. Перепилихин муж изловчился: пробку открыват да закрыват — плясова музыка выходит. Его на свадьбы зовут заместо гармониста.

А Перепилиха той поры силу вошла. Ей перечить никто не могн.

Она перво-наперво ум отобьет, опосля того голосом всего исщиплет, прицарапат.

Мы выторапливались уши заткнуть. Коли ухом не воймуем, на нас голос Перепилихи и силы не имет.

Одиновы видим — куры, собаки, кошки всполошились, кто куда удират. Ну, нам понятно — это значит, Перепилиха истошным голосом заверещала.

Перепилиху, вишь, кто-то в деревне Жаровихе обругал, али в гостях не назвали самолучшей гостьюшкой.

Перепилиха отругиваться собралась, для проминанья голоса у нас Уйме силу пробует.

Мы еённу повадку вызнали. Сейчас уши закрыли, кто чем попало. Кто сковородками, кто горшком, моей жоны бабка ушатом накрылась. Попадья перину на голову вздыбила, одеялом повязалась и мимо Перепилихи павой проплыла, подолом пыль пустила. Уши затворены и вся ересь голосова нипочем.

Перепилиха со всей злостью крутнулась на Жаровиху.

А жаровихинцы уж приготовились. Двери, окошки затворили накрепко, уши позатыкали. Дома, которы не крашены, наскоро мелом вымазали — на крашено Перепилихин голос силы не имет.

Вот Перепилиха по деревне скется, изводится, все безо всякого толку.

Жаровихински жонки из окошек всяки ругательны рожи корчат.

Увидала Перепилиха один дом некрашеной, к тому дому подскочила — от дома враз щепки полетели!

Жил том дому мужичонко по прозвищу Опара. Житьишко у Опары маловытно, домишко чуть на ногах стоит. Опара придумал на крышу ушат с водой затащить, водой и чохнул на Перепилиху цельным ушатом.

Перепилиха смокла и силу голосову потеряла.

Жаровихински жонки выскочили, а в ругани оны порато наторели. И взялись Перепилиху отругивать за старо, и за ново, и за сколько лет вперед!

Про воду мы соображенье взяли. Стали Перепилиху водой утихомиривать, коли гости придет — мы ковшик с водой перед носом поставим, чтобы голосу своему меру знала.

Перепилиху мы и на общественну пользу приспо-

соблям: как чищемину задумам, Перепилиху посылам дерёва да кусты голосом рубить.

Пирог [illegible] зубаткой

Послушай, кака оказия с Перепилихой приключилась.

Завела Перепилиха стряпню, растворила квашню, да разбухала больше меры.

Квашню на печку поставила, [illegible] сама возле печи спать повалилась. Спят: муж Перепилихи на полатях, Перепилиха на полу выхрапыват, вроде как носом сказку говорит.

Слышит Перепилихин муж, ровно кто босыми ногами по избе шлепат. Глянул с полатей: квашня-то пошла, тесто через край да на Перепилиху валит. Перепилиха только во снах причмокиват да поворачиватся.

Перепилихин муж обряжаться стал скорым делом: печку затопил, жону посолил, тестом обтяпал, маслом смазал да [illegible] печку.

Испек-таки пирог!

Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости:

— Кумовьё, сватовьё, други-соседи! Покорно прошу ко мне [illegible] гости, моей стряпни, моего печенья ись! Испек я пирог с зубаткой, приходите скоре, пока горячность из пирога не ушла!

Мы думам: кака така горячность? Ежели и простынет пирог малость, то горячим запьем, Сами потораплываемся.

Сам знашь, не в частом быванье мужикову стряпню ись доводится. В Перепилихину избу явились, как по приказу — все сразу.

Ну [illegible] пирожище! Отродясь такого не видывали! Со всех сторон шире стола, и толстяшшой и румяняшшой, просто загляденье, а не пирог!

Мы к нему и присватались. Бороды [illegible] сторону отворотили с помешки. И как следоват быть, по заведенному у нас обычаю, у рыбника верхню корку срезали, подняли.

А в пироге — Перепилиха!

Запотягивалась [illegible] говорит:

— Ах, как я тепло выспалась!

Что тут стало — и говорить не стану!

Опосля того разу я не только к большим пирогам, а к маленьким [illegible] опаской подходил!

Мужа Перепилихиного мы через пять дён увидали. Висит на плетню, сохнет. Мы его не сразу и признали. Думали — какой проходящой так измочен, так измучален! Это все Перепилиха: где бы с поклоном мужику благодаренье сказать за тепло спанье в пироге, [illegible] она его [illegible] горячей воде вымочила да им-то, мужиком-то своим, всю избу вымыла, вышоркала и приговаривала:

— После твоих гостей для моих гостей избу мою!

День и ночь висел Перепилихин муж на плетне. На другой день Перепилиха его сняла, палками выкатала, утюгом горячим выгладила и послала нас потчевать корками от пирога.

Мы попробовали, а ись не стали — уж оченно Перепилихой пахло, и злость Перепилихина на зубах хрустела.

Артелью работал, один за стол садился

Вот я в двух гостях гостил, надвое разорвался. Надвое — дело просто. Меня раз на артель расщепало!

Ехал я на поезде, домой торопился. Стоял на площадке вагона и поезду помогал — ходу подбавлял: на месте подскакивал, ногами отталкивался.

На крутом завороте меня из вагона выкинуло. Вылетел я, да за вагон пуговицей зацепился. Моя жона крепко пуговицу пришила, ённо старанье хорошу службу сослужило.

Я боялся, что меня за каку-нибудь железнодорожность зацепит и растянет, а вышло иначе. Начало меня подбрасывать да мной побрякивать. Где брякнет — там и останусь, там и стою, остановки поезда дожидаюсь.

Я по дороге у железной дороги частоколом стал. Сам стою, сам себя считаю, а сколько станций, полустанков, разъездов сам собой частой вехой обвешил — и не сосчитал.

Вот машина просвистела, попыхтела и остановилась. Дальше нашего края ехать некуда. Коли снизу добираться, то тут конец, коли от нас ехать, то начало.

Я пуговицу от вагона отцепил. Домой пошел большой толпой, и все я, иду, песню хором пою.

В Уйме думали: плотники новы дома ставить пришли али глинотопы на кирпичный завод.

Я артельно ближе подошел. Люди с диву охнули.

— Ох-ти, гляди ты! Сколько народу и все, как один Малина! Ну, исто капаны! И до чего схожи — хошь с боку, хошь ■ рожи. И как теперича Малиниха мужа распознат? Эка орава и все на один лад — и

ростом, и цветом, и выступью, которой взаправдашной — как вызнать?

У моей жоны — слова готовы:

— Который на работу ловче и на слово бойче — тот и муж мне. Мой-то Малина работник примерный!

Я на жонино слово поддался и всеми частями за работу взялся. В поле и на огороде работаю, поветь починяю, огород горожу, мельницу чиню, дом заново крашу, в лесу дрова запасаю, рыбу ловлю, бабе к новой юбке оподолье вышиваю, хлеб молочу, пряжу кручу, веревки вью. И все зараз и на все горазд!

За работу взялся ■ послеобеденно время, а к паужне все сготовлено, все сроблено.

Баба моя ходит и любуется, а не может вызнать, который я — настоящий я. Я на всех работах ■ десять рук работаю.

Вызнялась жона на поветь, будто на работу поглядеть, и метнула громким зовом:

— Малина, муженек! Поди за стол садись, пришла пора ись!

Я к еде двинулся и весь ■ одного сдвинулся.

В тех местах, где я стоял у железной дороги, там выросли малиновы кусты и по сю пору растут. Ягоды крупны, сочны, скусны.

Я худого не выдумываю, а норовлю, чтобы хорошим людям всем хватило да любо было.

Как наряжаются

Наши жонки, девки просто это дело делают. Коли надобно вырядиться для гостьбы, для гулянки — всяка

самолучший сарафан, [redacted] котора платье на себя наденет, на себе одернет, и как нать, така и есть.

К примеру взять мою жону. Свою жону [redacted] пример беру — не в чужи люди за хорошим примером идти.

Моя жона оденется, повернется — будто с картины выскочила. А ежели запоет [redacted] наряде, прямо залюбуешься. Ежели моя баба в ругань возьмется, тогда скоре ногами перебирай, дальше удирай и на наряды не оглядывайся.

К разу скажу: котора баба не умет себя нарядно одеть, хошь и не в дóроге, а чтобы на ней было хорошо, — ту бабу али девку и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего виду не портила. И про мужиков сказать. Быват так: у другого все ново, нарядно, [redacted] ему кажет, что одна пуговица супротив другой криво пришита, и всей нарядности своей из-за этого не восчувствует и при всей нарядности рожу несет будничну и вид нестоящий.

Сам-то я нарядами не очень озабочен. У меня что рабоче, что празднично — отлика невелика. На праздник, на гостьбу я наряжаюсь, только по-своему. Сяду [redacted] сторонку. Сижу тихо, смирно и придумываю себе наряд. Мысленно всего себя с головы до ног одену [redacted] обновы. Одежу придумаю добротну, неизносну, шитья хорошего, и все по мерке, по росту, не укорочено, не обужено. Что придумаю — все на мне на месте. Волосы руками приглажу — думаю, что помадой мажу. Бороду расправлю и лицом доволен, значит, наряден. По деревне козырем пойду.

Кто настоящего пониманья не имет, тот только мою важность видит, [redacted] кто с толком, кто с полным пониманьем, тот на меня дивуется, нарядом моим любуется, [redacted] гости зовет-зазыват, [redacted] самолучшими, с самонарядными за стол садит и угощат первоочередно.

И всамделишной мой наряд хулить нельзя. Он не столь фасонист, сколь крепок. Шила-то моя жона, а она на всяко дело мастерица — хошь шить, хошь стирать, хошь [redacted] правленье заседать.

Раз я от кума [redacted] гостьбы домой собрался. Все честь по чести, голова качается, в глазах то светло, то потемень, ноги подгибаются. Я языком повернул и очень даже явственно сказал: «Покорно благодарим, премного довольны, довольны всей утробой. И к нам милости просим гостить, мимо не обходить». И все тако, как заведено говорить.

Подошел я к порогу. На порог я ногой не ступаю, порогов не обиваю. Поднял я ногу, чтобы, значит, перешагнуть, а порог выше поднялся, я опять перешагнул. Порог свою линию ведет — подымается, [redacted] я перешагиваю.

Да так вот до крыши и доперешагивал, будто я по лестнице ноги переставлял. Крыша крашена, под ногами гладка. Я поскользнулся и покатился. Дом был [redacted] два жилья — нижне жилье да верхне жилье.

Тут бы мне и разбиться на мелки части. Выручила пуговица. Пуговицей я за жёлоб дождевой зацепился.

И на весу да [redacted] вольном воздухе хорошо проспался. Спать мягко, нигде не давит. Под боком ни комом, ни складкой.

Поутру кумовья, сватовья проснулись, меня бережно сняли. Городским портным так крепко, так нарядно пуговицу не пришить, как бы дорого ни взяли за работу.

Подруженьки

Как звать подруженек, сказывать не стану, изобидятся, мне выговаривать почнут. Сами себя узнают, да виду не покажут, не признаются.

Обе подруженьки страсть как любили чай пить. Это для них разлюбезно дело. Пили чай всегда вместе и всяка по-своему. На стол два самовара подымали. Одной надо, чтобы самовар все время кипел-разговаривал.

— Терпеть не могу из молчашшого самовара чай пить, буди ■ сердитым сидеть!

Друга, как самовар закипит, его той же минутой крышкой прихлопнет:

— Перекипела вода вкус терят, ■ аппетиту сбиват.

Обе голубушки, с полного согласия, ■ кипящий самовар мелкого сахару в трубу сыпали. Это для приятного запаху, оно и угарно, да не очень.

Чай пили — одна вприкуску, друга внакладку. Одной надо, чтобы чашечка была с цветочком: хошь маленький, хошь ■ одной стороны, а чтобы был цветочек. «Коли есть цветочек, я буди в саду сижу!»

Другой надо чашечку с золотом, пусть и не вся золота, пусть только ободочек, один крайчик позолочен, — значит, чашечка нарядна!

Одна пила с блюдечка: на растопыренных пальчиках его держит и с краю выфыркиват, да так тонкозвучно, буди птичка поет.

Друга чашечку за ручку двумя пальчиками поддерживат над блюдечком и чаем булькат.

Пьют ■ полном молчании, от удовольствия улыбаются, маленькими поклонами колышутся.

Самовары ведерны. По самовару выпили, долили,

снова пить сели. Теперь ■ разговором приятным. Стали свои сны рассказывать. Сны верны, самы верны: что во сне видели, то всамделишно было.

Одна колыхнулась, улыбнулась и заговорила:

— Иду это я во сне. И така я вся нарядна, така нарядна, что от меня будто свет идет! Мне даже совестно, что нарядне меня нет никого. Дошла до речки — через речку мостик. Народом мостик полон, — кто сюда, кто туда. При моей нарядности нельзя толкаться. Увидали мою нарядность: кто шел сюда, кто шел туда — все приостановились, с проходу отодвинулись, мне дорогу уступили.

Заметила я, что не все лица улыбаются. Я сейчас же приветливым голосом сказала слова громоотводные: «Извините, пожалуйста, что я своим переходом по мостику вашему ходу помешала, остановку сделала». Все лица разгладились, улыбками засветились. Ясный день светле стал. Речка зеркалом блестит. Глянула я на воду — на свою нарядность полюбоваться, — рыбы увидали меня, от удивленья рты растворили, плыть остановились, на меня смотрят-любуются. Я сняла фартук с оборками, зачерпнула полный рыбы и ■ поклоном ■ знак благодаренья за оказанно уваженье отдала народу по эту сторону мостика. Ишо зачерпнула рыбы полный фартук и отдала народу по ту сторону мостика. Зачерпнула рыбы третий раз — домой принесла.

Кушайте пирог с той самой рыбкой, котору во сне видела. Вот какой у меня верный сон!..

Друга подруженька обрадовалась, что пришел ее черед рассказывать. Вся улыбкой расцвела ■ про свой сон рассказ повела:

— Видела я себя такой воздушной, такой воздушной! Иду по лугу цветущему, подо мной травки не

приминаются, цветочки не наклоняются. Я прозрачным облачком лечу. И дошла я до берега. Вода серебром отливат, золотом от солнца отсвечиват. А по воде лодочка плывет, лаком блестит. Парус у лодочки белого шелка и весь цветами расшит.

И сидит в той лодочке твой муженек, ручкой мне помахиват, зовет гулять с ним [redacted] лодочке...

Не пришлось голубушке свой сон досказать до конца.

Перва подруженька подскочила, буди ее подкинуло! Сначала задохнулась, потом отдышалась и во всю голосову силу крик подняла:

— Да как он смел чужой жоне во снах сниться. Дома спит, буди [redacted] весь тут! А сам в ту же пору к чужой жоне [redacted] лодочке подъезжат! Да и ты хороша! Да как ты смешь чужого мужа [redacted] свой сон пущшать! Я в город пойду, все управы обойду, добьюсь приказу, строгого указу: чтобы не смели мужья к чужим жонам во сны ходить.

Громка мода

Сидел я на угоре над рекой, песню плел, река мимо бежала, журчала, мне помогала. Мы с рекой [redacted] ладу, [redacted] согласье живем. Песню плету, узоры песенны выплетаю.

Вдруг вывернулся пароходишко прогулочный: городских гуляк возит для проветриванья. Пароходишко свистком скрипучим, визжачим меня с песни сбил, [redacted] на тот час песню потерял.

Я рассердился, бечевкой размахнулся, свисток сорвал, тряпкой укутал, его и не слышно.

Прихожу домой, [redacted] у нас франтиха-модница [redacted] гостях сидит. Из городу приперлась, чай пьет. Гостья локти расставила и [redacted] особенным модным фасоном чашку [redacted] двух перстах едва держит и чай выфыркиват.

От своей нарядности вся приважничалась. И зовет меня:

— Присядь со мной рядышком, песенной выдумщик!

— От сижанки я на ногах постою.

С ней модницей-франтихой рядом не очень сядешь — така она широка. Кофта вся [redacted] оборках, рукава пузырями и с кружевами, кружева натопорщены, то ли на крахмале, то ли на густом клею держатся. А юбка двадцать три метра в подоле. Эка модность никудышна, не по моему ндраву.

Я сзаду подошел [redacted] под кофтенны оборки, в юбошны складки свисток визжачий прицепил, тряпицу сдернул, сам отскочил.

У модницы как засвистело.

— Извините, мне недосужно боле [redacted] гостях сидеть, у меня в середке како-то расстройство, я [redacted] фершалу побегу.

Бежит франтиха по деревне, пыль разметат, кур пугат, а свисток на ходу еще звонче вывизгиват. Собаки за франтихой с лаем пустились, ее бежать подгоняют, мимо фершала прогнали.

Модница-франтиха до самого городу юбкой по дороге шмыгала, пыль столбом вздымала!

В городу шагу сбавила, ради важности двадцатитрехметровой юбкой вертит, [redacted] свисток [redacted] раскачку да с дребезгом завизжал. Во всех домах отдалось!

Городски франтихи-модницы в окна выпялились!

— Что оно тако? Откудова экой фасон! И как прозыватся?

Модница ■ свистячей-визжачей юбке идет вперевалку, губки бантиком сложила и чуть-чуть выговорила:

— Это сама нова загранична мода и прозывается «музыкально гулянье».

Что тут ■ городу повелось!

Модницы широки юбки напялили и под юбки гранофоны приладили, под юбки девчонок услужающих посадили. Девчонки гранофонны ручки вертят, пластинки гранофонны перевертывают, гранофоны все в разноголосицу. У которых под юбкой девчонки на гармони играют-нажаривают, а у которых в бубны бьют. У кого услужающей девчонки нету али гранофон не припасен, те взяли будильники ■ на долгий звон завели и под юбки дюжинами привесили.

Протопопиха малой колокол с соборной колокольни стащила, подвесила под юбку, идет, каблуками вызванивает, пнет ■ колокол — он ■ откликнется изпод подолу. Очень звонко, громко!

Жители городски едва не оглохли от екого музыкального гулянья.

Начальство скоропалительно собралось и особым указом, строгим приказом громку моду запретило.

Все угомонилось. Во всех концах стихло. Только у модницы-франтихи свистит и свистит без передыху! Модница ■ так и сяк старается свист унять: на тумбу сядет — свистит, к забору прижмет себя — свистит!

Модница ко мне в Уйму рванулась. А по берегу нельзя — в кутузку заберут, она в лодку скочила и во всей модной нарядности часов пять веслами шлепала. Ко мне добралась уж на ночь глядя. Добралась и давай упросом просить помочь ей против свисту.

Как не помогчи, я завсегда помочь готов.

— Скидывай, кума, юбку, я перестрою на нову моду.

Модница юбку сняла. Я свисток отцепил, в тряпку укутал, его опять не слышно. От юбки я двадцать два с половиной метра отхватил, на портянки нам, мужикам, франтихе оставил полметра.

На другой день франтиха нову моду завела. По городу в узкой юбке молчком пошла, юбка вся как рукав, модница ногами чуть переставлят, щеки надула напоказ, мол, коли юбкой узка, так с лица широка.

Городски модницы сейчас же увидали. Как им отстать?

В узки юбки ноги кое-как втолкнули, ногами засеменили. А не знали, что щеки надо надуть — полные рты воды набрали: им и тошно, и дых сперло, и перешепнуться нельзя, ведь рты-то водой полны.

На модниц сам полицмейстер наскочил, саблей забренчал, ногами застучал.

— По какому случаю ходите да молчите, како дело умышляете?

Модницы фыркнули на полицмейстера, его водой всего обмочили.

— Мы из-за тебя из себя воду выпустили, из-за тебя модный фасон потеряли! Коли громку моду нельзя носить, так тихомолком ходить нельзя запретить!

Полицмейстера модницы оглушили, ум отбили, а ума и было-то мало. Вышел новый приказ:

— Моду, окромя громкой, каку хошь одевайте, только ртов не открывайте.

Ты думаешь, я все это выдумал, что такого и не было?

Посмотри на старопрежних картинках, ■ прежних

журналах, увидишь, каки широки юбки носили. Под юбками малы ребятишки хороводы водили. На других картинках юбки шириной с рукав, по ровному месту шли, а как приступка — и ни с места! На лестницы модниц на руках подымали.

Сладко житье

Посереди зимы это было. И снег, и мороз, и сугробы — все на своем месте. Мороз не так чтобы большой, не на сто градусов, врать не буду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел. Моя жона говорлива, к ней постоянно гости с разговорами, с новостями, с пересудами — я и ушел в лес, от бабьего гомону голову проветрить.

Иду, снегом поскрипываю, а мороз по лесу постукиват.

Гляжу — пчелы!

Ох ты — пчелы? И живы, и летают! Покажется это пчелка, холоду хватит да в туман и спрячет себя.

Кабы я от кума шел, ну, тогда дело просто — с пива хмельного в глазах всяка удивительность место находит. Кабы я из полицейской кутузки был выпущен, тогда бы и память, и пониманье были бы отшиблены. А я в настоящем полном своем виде, во всем порядке.

Я к ним, к пчелкам, и шагнул. В туман стукнулся. От тумана на меня сладким теплом пахнуло-дохнуло. Нюхнул — пахнет медом, пряниками, лампасьем хорошим.

Я шагнул в туман, а он подается, а не раздается, в себя не пущат. Хотел напролом проскочить, напором взять, а туман тугой — держится тихо-тихо, а вытолкнул меня вобратно на холод.

А пчелки трудящи шмыгают в тумане, похоже, зовут к себе в гости. Надо, думаю, пчелкам слово сказать, а туман сладостью конфетной мне рот набил. Я прожевал — оченно даже приятно. К чаю это подходяще. Стал топором туман рубить.

Прорубил ход в сладком тумане, протолкал себя на ту сторону. И попал на сладки воды, на те самы, которы в нашей холодности хранили себя.

Стою в ласковом тепле. Вижу, озерко лежит в зеленой травке, на травке цветочки разны покачиваются, леденцовыми колокольчиками позванивают.

Берег озерка усыпан разноцветным лампасьем. Озерко гладку волну вздымет на берег, новы пригоршни лампасья кинет, у берега пена спенится, сахаром на берегу останется.

Пчелки кругами носятся, золоты узоры ткут, на воду чуть присядут и с медовым грузом к берегу. На берегу мед ровными стопками. Кажна стопка тройке воз, если мерить на увоз.

Хлебнул воду для испытания. Вода теплая, сладкая. И все место из-за тумана никакому полицейскому не пронюхать. Спрятано хорошо.

А кругом дела делаются. От моего прихода тепла прибавилось. Мед на берегу заподтаивал и потек на воду, с сахарной пеной тестом замесился и готовым пряником двинулся.

Я посторонился, туман раздвинулся. Пряники широчащи, длиннящи двинулись по моим следам. Пчелки трудящи, работящи на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узорочье вывели. Лампасье под

пряники для колесного ходу рассыпалось и к нам ■ деревню, к моему двору вместях с пряниками прикатилось.

Надо сладко добро от захватчиков спрятать и по дороге прикрыть. Я туман прихватил за край и растянул занавеской на весь путь пряникам, прикрыл и с той и с другой стороны.

Через туман не видно пряников самоидущих, скрозь туман без особой сноровки не проскочишь. Дело хороше, больно и никому не известно.

Будь пряники ростом ■ воротину, просто бы их по поветям под навесами, по амбарам спрятать от жадных глаз, от грабительских лап. Пряники шириной с улицу!

А пряники идут и идут. Мы их на ребро да к дому. Пряники во всю стену. Мы домы пряниками обставили, крыши пряниками накрыли. В пряниках окошки прорубили. У пряничных домов углы, обоконники и крыши лампасьем леденцовым разноцветным облепили. Даже издали глядеть сладко.

Туман по показанной ему дороге тянется от сладкого озера и у нас на задворках вьется, в сладки кучи складыватся.

Пряники без устали самоходно себя месят, пекут, к нам себя катят, кучами складываются.

Народ у нас артельный, на помощь пришли, пряники к себе растащили. Дома, сидя за чаем, угощаются, потчуются.

К нам коли хороший человек поколотится, мы пряничны ворота отворим, ■ поклоном принимам, угощам, пряниками накормим, ■ собой запас дадим.

Поколотится урядник, поп, чиновник, мы скрозь окошки кричим:

— Милости просим, заходите, гостите, для вас

самовар ставим, на стол собирам, рюмки наливам, только ворота пряничны не отворяются. Уж не стесняйте себя церемонией, поешьте пряника, проешьте дыру ■ меру своей вышины, ширины и ■ избу зайдите, гостями будете.

Поп, урядник, чиновник на пряничны ворота набрасывались, животы набивали пряниками, пряники ломали, в карманы клали, а к нам ходу ни прожрать, ни проломать не могли.

Без них у нас и стало сладко житье.

Пряники

Пряники беспрерывно прибавляются. У нас ■ Уйме места уйма, ■ от пряников тесно стало. Надо в город везти, хорошему простому народу в угощенье, а остальным в продажу.

По зимней ровной дороге мы крупного лампасья насыпали, на лампасье пряник на пряник поставили вышиной на аршин выше домов, шириной только с пол-улицы—для проходу половину улицы оставили. Для сохранности пряники туманом накрыли.

На что полицмейстер, кажется, страшне его не было никого, а и тот от пряничного ходу со всей своей тройкой свернул ■ переулок узенькой и до конца торгового дня из переулка вывернуться не мог.

О своем товаре мы не кричали, не объявляли, и так всем ведомо стало: пряничной дух всех с места скинул, все на рынок за пряниками прибежали.

Простому хорошему народу мы пряники так дава-

ли, кто сколько мог на себе унести. Чиновничьему люду пряники продавали. Цена нашим пряникам та же, что и лавочным, только мера друга. В лавках цена за фунт, а у нас за ту же цену бери махову сажень. Махова сажень два аршина с лишним, а то и три. Бери сажень в вышину и в ширину.

По первости чиновники фыркали:

— Много навезено, за дешево продавают, значит, нестоящий товар! Нам угодно того, чего мало али вовсе нету [illegible] что втридорога стоит [illegible] нам за полцены дают.

Носом повертели, не утерпели, поели, попробовали — отстать не могут. Пряники — еда заманчива!

Все ели одинаково, а действие было разно.

Простой народ ел, сытел, [illegible] тело входил, голову подымал, на ногах крепче стоял.

Чиновники, полицейски, попы, богатеи едят с жадностью, их корежит, распират. Не по нутру им пришлись пряники, а народ хвалит, облизывается.

Хорошему народу мы давали пряники со всей узорностью, со всей печатностью — и в этом-то и вся сытость пряников была.

Остальным от тех же пряников и больши куски отворачивали, а на них пусто место али точка.

Полицейским не спится, на месте не сидится, надо им вызнать, [illegible] чего повелось, откуда завелось.

Полицейски тихим обходом дело начали, ко мне тонкими лисами подъехали:

— Малина, ты мужик справной, хорошо живешь, помалу не пьешь. Скажи на милость, откудова [illegible] Уйме пряников така уйма?

Спрашивают особым секретным голосом. Я им в том же виде отвечаю:

— Ежели скажу да покажу, то ваше начальство и

у нас, мужиков, и у вас, полицейских, все себе отберет. Я покажу только вам по секрету, приходите ко мне в сутемки — сыты будете.

Были у меня бочки сорокаведерны припасены для медового запасу. Бочки я толсто медом смазал.

В потемень полицейски заявились. Я их со всей настоящей обходительностью угощал пряниками, накормил до раздутия. И по одному к бочкам подводил. Бочки без днищ да на боку, [illegible] потемках очень схожи с потаенным ходом.

Полицейски в бочки сунулись, [illegible] мед влипли, я днища заколотил, для воздуху в бочках дырки просверлил. На бочках надпись вывел: «Перевертывать». Кто идет, тот [illegible] пнет. За околицу выпинали скоро. На дороге бочки не застаивались: всегда было кому пнуть, перевернуть.

От полицейских всем миром избавились!

По большим дорогам большо начальство ехало. Бочки поперек дороги выкатились.

Начальство увидало, медвежьей болезнью заболело, так уж положено было большому начальству той болезнью болеть.

— Ой, ой, бонба! Кати ее под гору, кати на реку!

В деревне и в городу теперь у нас тишина, спокой. Никто в морду не бьет, никого не грабят, никого в кутузку не тянут.

Губернатор и полицмейстер приказами кричат:

— Это беспорядок — во всем городе порядок!

Царь в поход собрался

А пряников у нас горы. По всей деревне задворки пряниками загружены.

Мы едим, надо дать и другим. Стали посылать по железной дороге в разны города. Пряники грузили на платформы, туманом легонько прикрывали их для сохранности. Узорность и письменность на пряниках тех туманом скрывали от полицейских глаз.

Покатили наши пряники писаны-печатны по селам, деревням, по городишкам, городам. Дошла весть о пряниках до чиновников, до важных начальников, до министеров, до царской подворотни и до самого царя.

Все перепугались, даже пьянствовать остановились. Царь выкрикиват:

— Как так, из голодной губернии в урожайно место сытость идет? Запретить, прекратить!

Царица заверещала:

— Дайте мне пряника самоходного, я таких в глаза не видала, на зубах не жевала. Ни жить, ни быть не могу — давайте пряника скореича!

Министеры духу-смелости набрали и прокричали:

— Ваше царьско, пряники-то печатны!

— Как так печатны? Кто дозволил?

Царь заскакал, всем министерам, генералам по зубам надавал. Власть свою показал. Утишился и всем по царской награде привесил. Дух перевел и заговорил:

— Я своим царьским словом приказал: учить — обучайте, а понимать не дозволяйте. Я грамоту дозволяю, — понимать запрещаю!

— Ваше царьско, по твоему указу в тот край поли-

тиков ссылали. Кабы их на тройках прокатили, оно бы ничего, а они пешком шли и каждым шагом народу пониманье несли.

Царь схватил бутылку с казенной водкой, о донышко ладошкой хлопнул, пробку умеючи вышиб, одним духом водку выпил и царско слово сказал:

— Заботясь неизменно о благе своем, приказываю пряники писаны-печатны опечатать и впредь запретить!

Министеры разными голосами рапортуют:

— Ваше царьско, дозвольте доложить, архангельскому народу нельзя запретить — из веков своевольны. Дойдут пряники писаны-печатны до глухих углов, тогда трудно будет нам. Надо особых людей послать для уничтожения сладкого житья и теплых вод, а народ в голоду повернуть. С сытым народом да в грамотным нам не справиться.

Царь ногами дрыгнул, кулаком по короне стукнул:

— Я умне всех! Сам в Уйму поеду, сам распорядок наведу, сам хороше житье прикончу!

Царь распетушился, на цыпочки вызнялся, чтобы показать свое высочайшество, да не вышло. Ни росту, ни дородства не хватало.

Два усердных солдата от всего старанья царя штыками за опояску подцепили и вызняли высоко, показали далеко.

И... крик поднялся!

Вопят, голосят царица с царевятами, министеры с генералами.

— Что вы, полоумны, делаете? Разве можно всему народу показывать настоящу царску видимость! Народу показывать можно только золоту корону, что под короной, то не показывается, про то не говорится!

Царь в поход собрался.

— Еду! — кричит, — [redacted] Уйму, вот моя царьска воля!

Вытащили трон запасной, поставили на розвальни, дровни узки оказались. Трон веревками привязали.

Стали царя обряжать, одевать, надо царьску видимость сделать. На царя навертели, накрутили всяко хламье-старье — под низом не видно, а вид солидне. Поверх тряпья ватный пиджак [redacted] царскими знаками натянули, на ноги ватны штаны с лампасами, валенки со шпорами. Сапоги с калошами рядом поставили.

Трудно было на царя корону надеть. Корона велика, голова мала.

На голову волчью шапку [redacted] лисьим хвостом напялили, пуховым платком обвязали и корону нахлобучили. Чтобы корону ветром не сдуло, ее золотыми веревками к царю привязали.

Под троном печку устроили для тепла [redacted] для варки обеда. Царю без еды, без выпивки часу не прожить.

Трубу от печки [redacted] обе стороны вывели для пуска дыма и искр из-под царя для всенародного устрашения. Царь, мол, с жаром!

Всё снарядили. В розвальни тройку запрягли. По царскому указу [redacted] упряжку еще паровоз прибавили. На паровоз погоняльщика верхом посадили.

Все [redacted] полной парадности — едет сам царь!

В колокола зазвонили, [redacted] трубы затрубили. Народ палками согнали, плетками били. Народ от боли орет. Царь думат — его чествуют.

На трон царь вскарабкался, корону залихватски сдвинул набекрень, печать для царских указов [redacted] валенки сунул, шубу на плечи накинул второпях левой стороной кверху.

Царица со страху руками плеснула, [redacted] снег ухнулась и ногами дрыгат. Министеры [redacted] все царски прихвостни от испугу закричали:

— Ай, царь шубу надел шиворот навыворот, задом наперед! Быть царю биту!

От крику кони сбесились, кабы не паровоз, унесли бы царя и с печкой, и с троном, и с привязанной короной. Паровоз крику не боится — сам не пошел и коней не пустил.

Вышел один министер, откашлянулся и таки слова сказал:

— Ваше царьско, не езди в Уйму, я ее знаю: деревня длинновата, река широковата, берега крутоваты, народ с начальством грубоват, и впрямь побьют!

Царь с трона слез, сел на снегу рядом с царицей [redacted] говорит:

— Собрать мою царьску силу, отборных полицейских, [redacted] послать во все места, где народишко от писаных-печатных пряников сытым стал. Мой царьской приказ: повернуть сытых [redacted] голодных!

И подписал: быть по сему.

К нам приехала царска сила — полицейски. Таких страшилищ мы и во снах не видывали. Под шапками кирпичны морды, пасти зубасты — смотреть страшно.

Страшны, сильны, а на сладкости попались. Увидали пряники и с разбегу, [redacted] полного ходу вцепились зубами [redacted] пряничны углы домов. Жрут, животы набивают. А нам любо — ведь на каждом пряничном углу пусто место али точка, для полицейских — для царской силы та точка.

Много полицейски ели, сопели, потели, [redacted] дальше углов не пошли, нутра не хватило, и вышла им точка! Их расперло, ладно, дело было зимой, летом их бы разорвало.

Объелись полицейски, руками, ногами шевелить не могут. Мы у них пистолеты отобрали, в кобуры другого наклали, туши катнули, ногами пнули.

И покатилась от нас царска сила.

Царь в город записку послал, спрашивал: как евонна сила действует? Записка в подходящи руки попала и ответ был даден:

«Полицейски от нас выкатились. Царьску силу мы выпинали. Того же почету вам [redacted] всем царям желам».

Как [redacted] чиновников потешил

Городско начальство стало примечать: изо всех деревень и ближних и дальних мужики, жонки приезжают сердиты, а из Уймы все с ухмылочкой.

Что за оказия така? Все деревни одинаково под полицейскими стонут, а уемски все [redacted] гунушками, а то и смехом рассыплются, будто спомнят что.

Дозналось начальство. Да наши сами рассказали — не велик секрет, не наложен запрет.

Дело, говорят, — просто: наш Малина веселы сказки плетет, песни поет, порой мы не знам, где правду сказыват, где врать начинат — нам весело, мы смехом [redacted] обиду прогоням, и усталь изживам.

Дошло это до большого начальства. Большо начальство затопорщилось:

— Как так смешно да весело мужикам, а не нам? Подать сюда Малину и во всей скорости!

Набрал я всякой еды запас на две недели, пришагал [redacted] город к дому присутственных мест, стал по переду, дух вобрал да гаркнул полным голосом:

— Я, Малина, явился! Кому нужон, кто меня требовал, кто меня спрашивал?

Да так хорошо гаркнулось, что [redacted] окнах не только стекла — рамы вылетели, [redacted] присутственных палатах столы, стулья, шкапы с бумагами подбросило, чиновников перекувырнуло и мягким местом об пол припечатало!

Худо бы мне было от начальства за начало тако, да губернатора на месте не было, он по заведенному положению поздне всех выкатился. Поглядел губернатор на чиновников, как те ушибленные места почесывают, а встать-подняться не могут.

Губернатор под мой окрик не попал, [redacted] на других глядеть ему весело, он и захохотал.

Чиновникам и больно, и обидно, а надо губернатору вторить. Они [redacted] захихикали мелким смехом.

Губернатор головы не повернул, а мимо носу, через плечо, наотмашь стал слова бросать:

— Вот за этим самым делом, Малина, я тебя призвал, чтобы ты меня и других чинов важных уважил — смешил. Сичас ты меня рассмешил. Ты, сиволапый, долго ли можешь нас, больших людей, смешить?

— Да доколе прикажете!

— Ну-ну! Мы над мужиком смеяться, потешаться устали не знам, нам это дело привычно. Потешай, пока у тебя силы хватит. Загодя скажу — ты скоре устанешь, чем мы смеяться перестанем.

Для хорошего народу сказки говорю спокойно, где надо, смеху подсыплю, — народ заулыбается, рассмеется и дальше опять [redacted] спокое слушат. [redacted] меру смех — [redacted] работе подмога и с едой пользителен.

А чиновников что беречь!?

Сердитость свою я убрал, чтобы началу не мешала, сделал тихо лицо тако мимоходно. Начал тихо, а помалу да помалу стал голосу прибавлять, [redacted] смех-то

сыпал с перцем, да с крупнотолченым, несуразицей подпирал, себя разогнал, ну, и накрутил.

Губернатор взвизгиват, животом трясет, чиновников скололо, руками отмахиваются, значит, передышки просят.

Я смотрю, чтобы смех не унимался, чтобы смех не убывал. Завернул я большой смех часа на три, а сам [redacted] ту пору сел, поел, питья да выпивки велел из трактира принести и на губернаторский счет записать.

Три часа проходят, я еще слов пять сказал, как пару поддал, и опять чиновники от смеху [redacted] кругиперевертыда в покаточку.

Мне что? Больше смеются — больше смешить стал. Я чиновников-издевальщиков крепко крутонул, [redacted] сам по городу пошел — разны дела делал, порученья деревенски справлял.

Время к вечеру пришло. Мне спать пора, я тако загнул, что губернатор всю ночь глоткой ухал, а чиновники тонким визгом завились.

На другой день я всю сердитость накопленну [redacted] ход пустил. И не только словами смешил, потешал, а и руками [redacted] ногами всяки кренделя выделывал — это словам на подмогу, как гармонь к песне. Из присутственных мест из разных палат смех да хохот громом летел по городу!

Городска беднота только ежилась.

— Опять на нас каку-то напасть выдумывают, опять шкуру с нас драть ладятся. Экой упряг времени хохочут, грохочут. Семь шкур содрали — восьму содрать собираются.

Чиновники остановиться смеяться не могут. Глянут друг на дружку — их как ременкой подстегнет на новый смех. Через столы переваливаются, по полу катаются.

Каждому смешно, что не он один [redacted] тако дело попал.

И до того досмеялись, что мелки чиновники только ножками дрыгали да икали, [redacted] губернатор только булькал да пузыри пускал.

Чиновники народ был хилый, мундирами держались, а смеяться насмехаться над мужиками да над простым народом были сильны. Неделю смеху выдержали и только второй недели недотянули — извелись. А губернатор лопнул!

Девки [redacted] небе пляшут

[redacted]еред самой японской войной придумали наши девки да парни гулянку [redacted] небе устроить.

Вот вызнялись девки [redacted] поднебесье. Все разнаряженны [redacted] штофниках, [redacted] парчовых коротеньких, [redacted] золотых, жемчужных повязках на головах, ленты да шелковы шали трепещутся, наотмашь летят.

Все наряды растопырились, девки расшеперились. В синем небе как цветы зацвели!

За девками парни [redacted] землю каблуками пристукнули и тоже вылетели [redacted] хоровод.

Гармонисты на земле гармони растягивают, а гармони все трехрядки [redacted] колокольчиками, наигрывают ходову плясову.

Девки, парни [redacted] небе в пляс!

В небе песни зазвенели!

А моя баба тогда молодой была, плясать мастерица, [redacted] алом штофнике с золотыми позументами выше

всех выскочила да вприсядку в небесном кругу пошла.

И на земле кто остался, тоже в пляс, тоже с песней. Не отступали, ногами по-хорошему кренделя выделывали, колена всяки выкидывали.

И разом остановка произошла!

Урядник прискакал с объявлением войны японской!

Распушился урядник!

— По какому, — кричит, — полному праву в небе пляску устроили? Есть ли у вас на то начальственно разрешение?

Перевел дух да пуще заорал:

— Может, это вы военны секреты сверху высматриваете!

Ну, мы урядника ублаготворили досыта. Лётного пива в его утробу ведро вылили.

Жаден был урядник до всякого угощенья, упрашивать не надо, только подноси.

Урядника расперло, вызняло и невесть куда унесло.

Нам искать было не под нужду. Рады, что не стало.

Мобилизация

Было это в Японску войну.

Мобилизацию у нас объявили. Парней всех наметили на войну гнать. Бабы заохали, девки пуще того. У каждой, почитай, девки свой парень есть. Уж како тако дерево, что птицы не садятся, кака така девка, что за ней парни не вьются?



Одначе девки вскорости охать перестали, [redacted] ухмылкой запохаживали.

«Что, — думаю, — за втора така?»

А у каждой девки на рубахе, на юбке по подолу мужички понавышиваны.

Старухи не раз унимали:

— Ой, девоньки, бесперечь быть войне, естолько мужичков [redacted] сподольях вышито!

Девки по деревне пошли, подолами трясли, вышитых стрясли, а взабольшны парни у подолов остались.

Вышиты робята выстроились как заправдашны рекруты.

Девки [redacted] котомки шапок наклали.

От начальства приказ был дан: запасны шапки брать, чтобы было чем японцев закидывать, ружей, мол, на всех не хватит.

Начальники прискакали, загрохотали на всю деревню:

— И так не так и эдак не так! Давайте лошадей, новобранцев в город везти!

Была у нас старушонка, по прозвищу Сухариха. Вот она всех новобранцев собрала, веревкой связала, на спину закинула да [redacted] город двинулась. В вышитых — сам понимашь — тяжесть не сколь велика.

Увидали начальники, что одна старушонка таку силу показала, думают: «А ежели весь народ свою силу покажет?»

Начальники скочили на коней [redacted] прочь от нас.

А мы тому и рады.

На утро за мной пришли.

Моя-то баба не выторопилась вышивку сделать да заместо меня в солдатчину сдать.

Явился, куда указано.

Доктор спрашиват:

— Здоров?

— Никак нет, болен!

— Чем болен?

— По малу ись не могу!

Повели меня на кухню. Почали кормить. Съел два ушата штей, два ушата каши, пять ковриг хлеба, выпил ушат квасу.

— Сыт? — спрашивает дохтур.

— Никак нет, ваше дохтурово, только в еду вхожу, дозвольте сызнова начать.

— Что ты, — кричит дохтур, — лопнутие живота произойти могит!

— Не сумлевайтесь, — говорю, — лишь бы [redacted] брюхо попало, [redacted] там оно само знат, что куда направить.

Начальство совет держало промеж себя и написало постановление:

«По неграмотности [redacted] невежеству родителей с детства приучен много ись и для армии будет обременителен».

Отпустили меня.

Пошел по городу брюхо протрясать. Иду мимо нарядного дома. Окошки полы стоят.

Вижу — начальство пировать наладилось, рюмки налиты, рюмками стукнулись и ко рту поднесли.

Я потянул [redacted] себя воздух — все вино мне [redacted] рот.

Начальство заоглядывалось.

«Ну, — думаю, — коли меня заприметят, то не видать мне своей бабы».

Чтобы от греха убраться, хотел почтой доставиться, да почта долго идет. Я на телеграфну проволоку скочил, телеграммой домой покатил. Оно скоро по телеграфу ехать, да на стаканчиках подбрасыват, весь зад отшиб.

Мало время прошло, стретил меня поп Сиволдай:

— Малина, да ты жив? А народ говорит, что живот свой положил за кашу!

[illegible] без ухмылки отвечаю:

— Выхолонул я, живу наново!

—Вот [illegible] ладно, — я тебя [illegible] город справлю, [illegible] солдаты сдам, скажу, чтобы тебе живот туже стягивали, ись будешь [illegible] меру.

— Ну что ж, справь да за руку веревку привяжи, будто дезелтира приведешь, награду получишь.

Сиволдай привязал веревку к моей руке, другой конец к своей руке.

Я на лыжи стал, припустил ходу по дороге. Поп вприпрыжку, поп вскачь!

Поп живуч, [illegible] городу отдышался.

По уговору сдал меня не как Малину, а как Вишню, — это за то, что я дозволил вскачь бежать, [illegible] не волоком тащил.

Отправили меня на Дальний Восток.

Как ись охота придет, открою двери теплушки, понюхаю, где вареным-печеным пахнет. С той стороны воздух [illegible] себя потяну, из офицерских вагонов да из рестораций все съедобно ко мне летит. Мы с товарищами двери задвинем и едим.

Приехали.

Пошел я по вагонам провианту искать.

Какой вагон ни открою — все иконки да душепользительны книжки и заместо провианту, и заместо снарядов боевых.

Почали бой. Японцы в нас снарядами да бонбами, снарядами да бонбами! А мы [illegible] них иконками, иконками!

Кабы японцы нашу веру понимали, их бы всех укокошило. Да у их своя вера, и наша пальба — дело посторонне.

Взялись за нас японцы, ну, — куда короб, куда милостыня!

Стоял я на карауле у склада вещевого. У ворот столб был с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Как трахнет снаряд! Да прямо в склад, все начисто снесло! Остался столб с надписью: «Вход посторонним воспрещен», а кругом чисто поле, узнай тут, [illegible] каку сторону вход воспрещен.

Одначе стою. Дали мне медаль за храбрость да [illegible] банным поездом домой отправили.

Наполеон

Это что за война? Вот ковды я [illegible] Наполеоном воевал!..

— С Наполеоном?

— Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Вижу — идет по Москве офицеришко плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в извощичий трактир. Угощаю сбитнем с калачами, музыку заказал. Орган валами заворочал и затрещал: «Не белы-то снеги».

Слышу, кто-то кричит:

— Гляди, робята! Малина с Наполеонтием приятельствует.

Оглядел я своего гостя — [illegible] впрямь Наполеон. Генералы евонны одевались [illegible] большим блеском, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгащивать. Говорю я ему, Наполеону-то:

— Куды в чужу избу зовешь? Я к тебе [illegible] Париж

твой приду. А теперь, ваше Наполеонство, видишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налететь. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Не заставь размахивать. Одно, конечно, скажу: «Марш из Москвы, да без оглядки».

Понял Наполеон, что Малина не шутит, — ушел. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золота, с каменьем. Сичас покажу. Стой, дай спомню, куда я ее запропастил. Не то на повети, не то на полатях? Вспомню — покажу, там и надпись есть: «На уважительну память Малине от Наполеона».

— Малина, да ты подумай, что говоришь, при Наполеоне тебя и на свете не было.

— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.

Мамай

Видишь ножик, которым лучину щиплют? Я его из мамаевой шашки сам перековал.

Эх, был у меня бубен из мамаевой кожи. Совсем особенный: как ■ него заколотишь, так ■ травы, ■ хлеба бегом ■ рост пустятся.

Коли погода тепла да солнышко, да утречком ■ мамаев бубен колотить станешь, вот тут начнут расти и хлеба, и травы. К полдню поспеют — и жни, молоти, вечером хлеб свежой пеки. А с утра заново выращивай, вечером опять новый хлеб. И так каждый теплый день. Только анбары набивай да кому надо уделяй.

А ты говоришь — не жил в то время! Лучше слушай, что расскажу, сам поймешь: не видавши не придумать.

Мамай, известно дело, басурманин был, и жон у него цельно стадо было, все жоны как бы двоюродны, а настояща одна Мамаиха. Мне она по ндраву пришлась: пела больно хорошо. Бывало, лежим это на полатях, особенны по моему указанию ■ Мамаихином шатру были построены. Лежим это, семечки щелкам ■ песню затянем. Запели жалостну, протяжну. Смотрю, а собака Кудя... Вишь, имя запомнил, ■ ты не веришь! Так сидит эта собака Кудя и горько плачет от жалостной песни, лапами слезы утират. Мы ■ Мамаихой передохнули, развеселу завели. Кудя встряхнулась и плясом пошла.

Птицы мимо летели, остановились, сердечны, ■ нашему пенью прибавились голосами. Даже Мамайка — это я Мамая так звал — сказывал неоднажды:

— И молодец ты, Малина, песни тянуть. Я вот никакой силе не покорюсь, а песням твоим покорен стал.

Надо тебе про Мамая сказать, какой он был, чтобы убедить тебя, что в ту пору я жил. Я тако скажу, что ни ■ каких книгах не написано, только у меня в памяти.

К примеру, вид Мамаев: толстой-претолстой, живот на подпорках, а подпорки на колесиках. Мамай ногами брыкнет, подпорки на колесиках покатят, будто лисапед особого манеру.

Ну кто тебе скажет про Мамаевы штаны? А таки были штаны, что одной штаниной две деревни закрыть можно было.

Вот раз утресь увидал я с полатей: идет на Мамая флот турецкой, Мамай всполошился. Я ему и говорю:

— Стой, Мамай, пужаться! С турками я справлюсь.

Вытащил я пароходишко, с собой был прихвачен на всякой случай. И пароходишко немудрящий — буксиришко, что лес по Двине тащит.

Ну, ладно. Пары развел, колесом кручу, из трубы дым пустил с огнем. Да как засвищу, да на турок!

Турки от страху паруса переставили и домой без оглядки!

Я ход сбавил и тихо по морю еду с Мамаихой. Рыбы в переполох взялись. Они, известно, тварь бессловесна, и нашли-таки говорящу рыбу. Выстала говоряща рыба и спрашиват:

— По какому такому полному праву ты, Малина, пароход пустил, когда пароходы еще не придуманы?

Я объяснил честь честью, что из нащего уемского времени с собой прихватил. Успокоил, что вскорости домой ухожу.

Прискучило мне Мамая терпеть. Я ему и говорю:

— Давай, кто кого перечихнет. Я буду чихать первый.

Согласился Мамай, а на чих он здоров был. Как-то гроза собралась. Тучи заготовку сделали. Большущи, темнящи. Вот сейчас катавасию начнут.

А Мамай как понатужился, да полно брюхо духу набрал, да как чихнет! Тучи котора куды. И про гром и про молнию позабыли.

Ну, ладно, наладился я чихать, а Мамай с ордой собрался в одно место. Я чихнул в обе ноздри — земля треснула. Мамай со всем войском провалился.

Мне на пустом месте что сидеть. Одна головня в печке тухнет, а две в поле шают.

Пароходишко завел да прямиком до Уймы. Городов в тогдашне время мало было, а коли деревня попадалась, подбрасывало малость.

Остался у меня на память платок Мамаихин, из его сколько рубах я износил, и жона моя сколько сарафанов истрепала.

Да ты, гостюшко, домой не торопись, погости. Моя баба и тебе рубаху сошьет из Мамаихинова платка. Носи да встряхивай — и стирать не надо, и износу не будет, и мне верить будешь.

Месяц с небесного чердака

На военной службе я был во флоте. В морском дальнем походе довелось быть на большом корабле.

Шли мы шли и до самого краю земли дошли. Это теперь вот у земли края нет, да небо куда-то отодвинули.

А в старо бывалошно время дошли мы кораблем до угла, где земля и небо упиралась, и мачтой в небо ткнулись. В небе дыру пропороли.

Я на мачту, а с мачты на небо залез. А там, ну, как на всяком чердаке, хламу разного навалено кучами. Стары месяца держаны, звезды ломаны, молнии ржавы, громы кучей навалены, грозовы тучи запасны, их я стороной обошел. Ну-ко тронь их, что будет?

Хотел было просту тучу взять на рубаху каждоденну, да подходящей выбрать не мог: то толста очень, то тонка и в руках расползается. Что взять для памяти, звезду? А что их с неба хватать!

Выбрал месяц, который не очень мухами засижен, прицепил на себя, как раз во весь живот пришелся, как по мерке, шинель застегнул, месяца не видно.

Высунулся [illegible] неба, а корабль отошел, до него сразу пропасть стала.

Что делать? Не сидеть же век на небе?

Размотал шарф [illegible] шеи, распустил его [illegible] одну ниточку, кинул вниз, начал спускаться. До конца нитки спустился. До корабля, до палубы верст полтораста осталось. Такой-то пустяшной кусок и скочить не сколь хитро.

Начальство в большом беспокойстве было, что в небе дыру сделали, и не заприметило, как я на небо забрался и с неба воротился.

Вечером на поверке я шинель распахнул.

Что тут сталось!

Свет от месяца на моем животе на полморя полыхнул! Это для неба месяц вроде перегоревшей лампочки, а здесь, на земле, от него свет даже свыше всякой меры.

Командиры забегали, руками хлопают, руками машут, кричат мне:

— Малина, не свети!

Я выструнился, месяцем выпятился и рапортую:

— Никак нет, ваше командирство, не могу не светить. Это мое нутро светит тоской по дому. Как получу отпускну, так свет сам погаснет.

Начальство сейчас написало увольнительну записку домой, печати наставило для крепости. Я шинель запахнул — и свету нету.

А [illegible] нос мне всякой пыли с небесного чердака напопалю: и ветровой, штормовой, грозовой, громовой. Я на корму стал да как чихнул ветром, штормом, грозой с громом!

Разом корабль к берегу принесло.

[illegible] те поры, надо сказать, страсть уважали блеск на брюхе. Всякой дешевенькой чиновничишко светлы пу-

говицы нацеплял, а который чином поболе, то всяки блестящи отметины на себя лепил. У самых больших чиновников все брюхи были [illegible] золоте и зад золоченый, им и спереду и сзаду поклоны отвешивали.

У кого чина не было, а денег много, тот золоту цепь поперек брюха весил. Народ приучен был золотым брюхам поклоны отвешивать.

Я это знал распрекрасно.

Вышел я на берег и прямо на вокзал и прямо [illegible] буфет.

Меня пускать не хотели.

— Куда прешь, матрос, здеся для чистой публики!

Нас, матросов и солдат, и за людей не признавали.

Я шинель распахнул, месяцем блеснул до полной ослепительности.

Все заскакали, закланялись. Ко мне не то что с поклоном, а [illegible] присядкой подлетели услужающие и говорят:

— Ах... — и запнулись, не знают, как провеличать, — не желательно ли вам откушать? Всяка еда готова и выпивка на месте!

Я сутки напролет сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться [illegible] с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было. Отдал приказ поезду меня дожидаться.

Заместо платы за еду я месяцем светил.

С меня денег не просили, а всякого провианту за мной к поезду вынесли, чтобы [illegible] пути я не оголодался.

[illegible] вагон не полез, [illegible] вагоне с месяцем тесно и никто не увидит моей светлости. Уселся на платформу. Меня подушками обложили, провианту наклали.

Шинель я снял. И пошло сияние на все округи!

Это для неба месяц был не гож да прошломесячный, [illegible] для нас на земле так очень даже много свету.

Светило не с неба на землю, с земли до неба, и така была светлынь, что всю дорогу встречали, и провожали с музыкой, и пели «Светит месяц».

Домой приехал. Начальство не знало, како надо почтение выказать такому сияющему брюху.

Парад устроили, музыкой до самой Уймы провожали, ура кричали.

Только вот месяц на небе в холоду держался, ветром обдувало, а здесь на земле тухнуть стал — и погас.

В хозяйстве все идет в дело. На том месяце хозяйки блины, пироги, шаньги пекут. Как сковородка месяц великоват, ну да большому куску рот радуется.

гости приходи — блинами угощу: блины-то каждый месяц ростом. Поешь — верить станешь.

Как поп работницу нанимал

(Старинная пинежская сказка)

Тебе, девка, житье у меня будет легкое, не столько работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, как подобат — до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешь

спи — отдыхай!

Завтрак состряпашь, самовар согрешь, нас матушкой завтраком накормишь и

спи — отдыхай!

В поле поработашь, в огороде пополешь, коли зимой — за дровами, за сеном съездишь и

спи — отдыхай!

Обед сваришь, пирогов напечешь — мы с матушкой обедать сядем, ты

спи — отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберешь

спи — отдыхай!

Коли время подходяще, лес по ягоды, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, так сбегашь. До городу рукой подать, восьми верст не будет, а потом

спи — отдыхай!

Из городу прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, ты

спи — отдыхай!

Вечером коров встретишь, подоишь, напоишь, корм задашь и

спи — отдыхай!

Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты

спи — отдыхай!

Воды наносишь, дров наколешь — это к завтрему — и

спи — отдыхай!

Постели наладишь, нас матушкой спать повалишь. А ты, девка, день-деньской проспишь-проотдыхашь — во что ночь-то будешь спать?

Ночью попрядешь, поткешь, повышивашь, пошьешь и опять

спи — отдыхай!

Ну, под утро белье постирашь, которо надо, поштопашь да зашьешь и

спи — отдыхай!

Да ведь, девка, не даром! Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев.

Богатейкой станешь!

Как парень ■ попу ■ работники нанялся

Нанялся это парень к попу в работники и говорит:

— Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.

— На что тебе деньги? — это поп говорит.

Парень отвечат:

— Сам понимашь, како житье без копейки!

Поп согласился:

— Верно твое слово, како житье без копейки!

Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц ■ посылат на работу. Дело было в утрях. Парень попу:

— Что ты, поп, где видано не евши на работу идтить?

Парня накормили и опять гонят на работу. Парень и говорит:

— Поевши-то на работу? Да я себе брюхо испорчу. Теперича надобно полежать, чтобы пища на место улеглась.

Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал.

— На работу? Без обеда? Ну нет, коли время обеденно пришло, дак обедать сади.

Отобедал парень, ■ поп опять на работу посылат. Парень попу толком объяснят:

— Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдашно правило заведено, тако положение: опосля обеда — отдыхать.

Лег парень и до потемни спал. Поп будит:

— Хошь теперича иди поработай!

— На ночь-то глядя? Посмотри-кось: люди добры за ужну садятся да спать валятся, то и мне надоть.

Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полдён. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужну проспал. К ужину явился, наелся.

Поп и говорит:

— Парень, что ты сегодня ничего не наработал?

— Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня ■ приниматься не стоит.

Поп весь осердился, парня вон гонит.

— Мне экого работника не надобно. Уходи от меня!

— Нет поп, я хошь ■ задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц ■ буду жить у тебя. Коли погонишь, я, пожалуй, уйду, ежели хлеба дашь ден на десять.

Инстервенты

Ты, гость разлюбезный, про инстервентов спрашивашь. Не охоч я вспоминать про них, да уж расскажу.

Ну вот, было тако время, понаехали к нам инстервенты, да ■ инстервенток привели ■ собой — тьфу!

Понимали, видать, что заскочили на одночасье и почали воровать вперегонки.

Как наши бабы стирано белье развесят для просыху, вышиты рубахи, юбки с вышитым оподольем, тою же минутой инстервенты сопрут — и перечить не моги.

По разным делам расстервенились инстервенты на нашу деревню всех коней угнали. Хошь дохни без коней! Сам понимашь, как без коня землю обработать? Тракторов в те поры не было, да и были бы, так трактора угнали бы инстервенты.

Меня зло взяло: коня нет, а сила есть.

Хватил телегу и почал кнутом огревать!

Телега долго крепилась, да не стерпела, брыкнула задними колесами и понесла!

Я на ходу соху прицепил, потом борону. Спахал всю землю, некогда было разбирать, котора моя, котора соседа, котора свата али кума — всю под одно обработал да засеял и все в один упряг. Да еще огороды справил. Телегу я смазал досыта поставил для передыху.

Вдруг инстервенты набежали, от горячки словами давятся, от злости на месте крутятся. Наши робята в хохот, на них глядя.

Инстервенты из себя лезут вон, истошными голосами кричат:

— Кто землю разных хозяв под одну спахал? Что это за намеки? Подать сюда этого агитатора!

Мы телегу вытащили.

— Вот она виновата, ейна проделка.

Инстервенты к телеге бросились, а я телегу по заднему колесу хлопнул: знай, мол, что надо делать!

Телега лягнула, оглоблями размахнула, инстервентов которых в болото, которых за реку махнула. Сама вскачь в город побежала ответ держать!

Я за телегой. Как ее одну оставить? Телега разошлась, моего голосу не слышит, сама бежит, себя подгонят.

В городу начальство инстервентско на Соборной площади собралось, все в голос кричат:

— Арестовать! Колеса снять! Расстрелять!

Телега без раздумья да с полного маху оглоблями размахнулась на все стороны. Инстервенты — на землю, а кои не успели опрокинуться, у тех скулы трещат. Работала телега за всю Уйму!

Инстервенты сабли достали, из пистолетов палят, да куды им супротив оглобель!

Я за угол дома спрятался и все вижу. И увидал: волокут пушки большущи, в телегу палить ладят.

Я закричал из-за угла:

— Телега! Ты нам нужна, как мы без тебя? Телега, телега, выворачивайся как-нибудь!

Телега услыхала, оглоблями пуще замахала, а сама к берегу, воде пятится.

Пароходы, что за реку в деревни бегают, да буксиры — народ наш, рабочий брат — увидали, что телега в эком опасном положении, на выручку заторопились. Пароходы по воде вскачь!

К месту происшествия прибежали, кормы приподняли, винтами воду на берег пустили. Инстервентов их пушки водой залили, пушки палить не могут. С инстервентов форс смыло и такой у них вид стал, что срам смотреть.

Пароходы телегу на мачты подхватили. Я успел на телегу сел. Пароходы свистками марш завысвистывали и привезли телегу домой целехоньку.

Мы телегу в другой двор поставили для сбережения от инстервентов. У телег отлика не велика, — поди, распознай, котора воевала?

А тебе скажу по дружбе, котора телега. Как Уйму придешь, считай четырнадцатый дом от краю, у повети стоит телега — та сама.

Стерлядь

Ко мне ■ избу генерал инстервентский заскочил. От ярости трепещется, криком исходится. Подай ему живу стерлядь!

У меня только что поймана была, не сколь велика — аршина три с гаком. Спрятать не успел, держу рыбину под мышкой, а сам трясусь, коленки сгибаю, оторопь проделываю, быдто уж очень я пужлив, а сам стерлядь тихонечко науськиваю.

Стерлядь, ты сам знашь, с головы остриста, со спины костиста.

Вот инстервент пасть разинул, чтобы дыху набрать да криком всю Уйму напугать.

Я стерлядь ему в пасть! Стерлядь скочила ■ насквозь проткнула. Головой по ногам колотит, а хвостом по морде хлещет!

Генерал инстервентский ни дыхнуть, ни пыхнуть не может. Стерлядь его по деревне погнала, солдаты фрунт делали да кричали:

— Здравья желам!

От крику стерлядь пуще лупила инстервента, он шибче бежал.

Стерлядь в воду — и пошла мимо городу, инстервент лапами всема четырьмя по воде хлопат, воду выкидыват, как машина кака.

В городу думали, что нова подводна лодка идет. Флагами да свистками честь отдавали и все спорили, какой нации новый водяной аппарат!

А как распознать инстервентов? Все на одну колодку. Тетка моей жоны, старуха Рукавичка, сказывала:

— Не вызнать даже, кто из них гаже!

А стерлядь мимо Маймаксы да ■ море вышла. По

морю к нам еще инстервентски военны пароходы шли ■ тоже нас грабить. Увидали в подозрительну трубу стерлядь с генералом, думали — мина диковинна на них идет, закричали:

— Гляньте-ко — русски каку-то смертоубийственну машину придумали!

■ большом страхе заворотились ■ обратну дорогу, да порато круто заворотились: друг дружке боки проткнули ■ ко дну пошли.

Одной напастью меньше!

Река дыбом

Запонадобилась моей бабе самоварна труба, стара-то и взаправду вся прогорела, из нее огонь фыркал во все стороны. Пошел я в город. Хотя ■ не велико дело — труба, а все-таки заделье, ■ не безделье.

Купил в городе самоварну трубу бабе, купил куме, сватье, соседке. Подумал: всем бабам разом понадобятся трубы — купил на всю Уйму. Закинул связку самоварных труб за спину и шагаю домой. День жаркий, я пить захотел. По дороге речка. В обычно время ее не очень примечал, переходил и только. На тот час речка к делу пришлась. Взял я самоварну трубу, концом в воду поставил, другой конец ко рту.

Не наклоняться же за водой в речку, коли труба в руках.

Мне надо было воду ■ себя потянуть, а я всем нутром, что было силы, из себя дунул!

Речонка всколыхнулась, вызнялась дугой высокой

над мокрым дном. Я загляделся и про питье позабыл. Всяко со мной бывало, а тако дело в первый раз. А речка несется высоко над моей головой, струйками благодаренье поет и будто улыбается, так она весело несет себя! Каки соринки, песчинки были в речке — все вниз упали, солнышко воду просветило, ну быдто прозрачно золото на синем небе переливается!

Вдруг полицейской налетел, диким голосом закричал:

— По какому такому полному бесправу выкинул речку сушить? Я тебя арестую и заставлю штраф платить!

Я под речкой пробежал на ту сторону.

— Ты сперва меня достань, а потом про штраф толкуй!

Полицейской только успел на дно речкино обеими ногами ступить, я речку бросил на землю. Речка забурлила в своих берегах, полицейского подхватила в море выкинула.

Одним полицейским меньше стало. А мне обидно, что не успел ново дело народу хорошему показать.

В Уйме обсказал мужикам. Словами говорил, руками показывал, а мужики все твердят:

— Да как так? Как река текла, как рыба шла?

Роздал всем мужикам по самоварной трубе, рассказал, что надо делать. Выстали мы по берегу у самого города, трубы в воду поставили одним концом. По моему указу (я рукой махнул) все мужики со всей мужицкой силой разом дунули!

Река и вскинулась над городом дугой-радугой.

Весь ил, весь песок на дно упали. Вода несется, переливается, солнцем отсвечиват. Рыба вся на виду. Мелка рыбешка крутится во все стороны, крупна рыба степенным ходом вверх по реке идет.

Река одним концом к морю, другим концом к нашей деревне, к Уйме. Которы рыбы жирностью да ростом для нас подходящи, те сами к нам подходили. Мы их с ласковым словом легким ловом перенимали на пироги, на уху, на засол, на угощенье хороших людей. В продажу не пускали.

Рыбу нам река дала в благодаренье за проветриванье. Река нам рыбу дарила, а дареным мы не торгуем, а угостить хорошего человека всегда рады.

Городски купцы на мель сели: у которого пароходы, у которого баржи с товаром, у которого лес плотами сплавлялся, и которы около других наживались.

Забегали купцы к начальству с жалобами:

— Сколько нашего богатства в реке пропадат!

Купечески убытки чиновникам не в печаль. Чиновники найдут, что с купцов содрать. А вот рыба в воде вся на виду, а на речном дне всякого дорогого много накопилось — это чиновники хорошо поняли. Ведь еще не было такого дела, чтобы реку с места подымали и богатства со дна реки собирали.

Скорым приказом по берегу стра́жу расставили. Строго заказали никого на дно не пускать!

На высоки крыши лестницы поставили. Чиновники в реку удочки закидывали. Просто дело для чиновников было ловить рыбу в мутной воде. А в проветренной, солнцем просветленной кака рыба на удочку пойдет? Рыбья мелкота издевательски крутится, а крупна большим размахом хвостом махнет, чиновников-рыболовов водой обольет и дальше идет.

Чиновники приказы написали, и приказам устрашающи печати наставили.

В приказах рыбам были указы: каким чинам кака рыба ловиться должна. С высоких лестниц приказы в реку выкидывали.

Для рыб чиновничьи приказы были делом посторонним.

Приказы с печатями устрашающими на мокро дно падали, грязи прибавляли.

Собрались чиновники на берегу, сговорились, кому како место на дне обшаривать.

Бросились чиновники больши и малы с сухого берега по илистому дну ногами шлепать, руками грязь раскидывать.

Мы, мужики, поглядели и решили: таку грязь, такой хлам оставлять нельзя.

Разом трубы отдернули.

Река пала на свое место, всех чиновников, больших и малых, со всей донной грязью подхватила и в море выкинула!

Без чиновников у нас житье было мирно. Работали, отжились, сытыми стали.

В старо время мы себя сказками-надеждами утешали.

В наше время при общем народном согласье и реки с нами в согласье живут. Куда нам надо, туда и текут. И рыбу, каку нам надо и куда нам надо, туда и несут.

Сплю у моря

Анне Константиновне Покровской

День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели в лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться — дерева мешают, как повернешься, так в пень, али во

ствол упрешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле — тоже спанье не всласть. Кусты да бугры помеха больша.

Повалился спать у моря. Песок ровненькой, мягонькой. Берег скатывается отлого. А ширь-то — раскидывайся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!

Под голову подушкой камень положил, один — на двух подушках не сплю, пуховых не терплю, жидкими кажут. На мягкой подушке думы теряются и снам опоры нет.

Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся — все в полну меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла. Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло.

И слышу в себе силу со всей дали, со всей шири. Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенны раскидат.

Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину.

Сплю, как спится после большой работы, — сплю молча, без переверта.

Чую, кто-то окутку с меня стягиват. Соображаю во сне: что за забаву нашли отдыху мешать? Я проснулся, вполпросыпа. Глаза приоткрыл и вижу — солнце-то что вздумало?

Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядыват, ему надо было поглядеть, все ли там в порядке, а чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце

ухватилось за воду, за море, за мое одеяло — с меня и стаскиват.

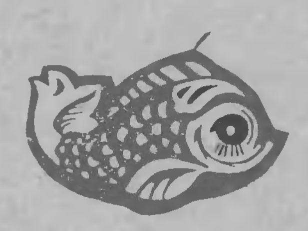
Я за воду, за край ухватился, тут межень прошла; вода прибыла, я море опять на себя натянул, мне поспать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу — один в море не хозяин. Кабы в тогдашне время мог я с товарищами сговориться, дак мы бы всем работящим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в общем согласье.

Да это еще впереди.

Теперь-то мы сговоримся.



СОДЕРЖАНИЕ

Ст. Писахов

Сказки

Редактор-составитель *Ш. З. Галимов*
Редактор *В. К. Лиханова.*
Технический редактор *Н. Б. Буйновская*
Корректор *Н. К. Галкина*

Сдано в набор 24/VII 1969 г.
Подп. в печ. 16/XI 1969 г. Форм. бум. $70 \times 108^{1}/_{32}$
(бумага типографская № 3). Физ. печ. л. 6,0.
Усл. печ. л. 8,4. Уч-изд. л. 7,506. Тираж 50 000
Сл 02996. Изд. № 4599. Заказ № 2716. Цена 32 коп.

Северо-Западное книжное издательство
Архангельск, набережная В. И. Ленина, 86.

Типография им. Склепина,
Архангельск, пр. П. Виноградова, 76